

МИХАИЛ ЛЮБИМОВ

СКОЛЬЗЯ ПО ЛЕЗВИЮ

СТИХИ УЛЕТЕВШИХ ЛЕТ

LAST LEAF



МОСКВА 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Моё поэтическое житие.....	7
Нон-фикшн о маме и папе	29
Скользя по лезвию.....	61
Лондонский ноктюрен	62
Весёлый робот	65
Исповедь под магнолиями.....	66
Триптих о галантности и трагедии.....	77
Прощальное	85
Баллада о сказочнике Андерсене.....	87
Баллада о смеси драй мартини и чёрного рома	90
Баллада об отсутствии сюжета.....	91
Баллада о том, как писать баллады	93
Баллада о дипломатическом ужине	94
Баллада о голом человеке.....	97
Баллада о несчастном черепе	98
Баллада о серой морде и красной роже	101

Баллада о полной чепухе.....	104
Баллада о великом Дарвине	106
На мотивы Т. С. Элиота	108
На мотивы Редьярда Киплинга	109
На мотивы Эзры Паунда.....	110
Смертельно юное	112
Королевский яхт-клуб	114
Одиночество.....	116
Плач о памятнике.....	118
Гойя	119
На смерть Хемингуэя.....	133
Лондонское ослепление.....	139
Письмо	142
Разрыв	144
Автострада.....	146
Зелёная дама.....	149
Бессмысленность	156
Синее — белое	159

Осенний вечер	176
Надоело	178
Ах, если бы.....	180
Нелегал в поэзии. Вместо послесловия.....	183
Список иллюстраций.....	191

МОЁ ПОЭТИЧЕСКОЕ ЖИТИЕ

«Быть русским заблудившимся поэтом среди лепета латинского цикад!» Это великий Набоков, прочитанный уже в зело зрелом возрасте. Но в юности в глупом подсознании теплилось нечто подобное. Писал стихи почти всю жизнь, отвлекаясь от подвигов рыцаря плаща и кинжала! Писал стихи для души, публиковать не пытался. В конце концов, кинжал сломался, плащ стянули, превратился в отставника-пенсионера и вроде бы в рыцаря пера, о чём тихо мечтал всю жизнь. Бурную поэтическую деятельность начал в ташкентской эвакуации, в сорок первом. Причём на редкость непатриотично:

Моему коту Барсику

«Рано утром в этот год
В квартиру к нам пришёл вдруг кот.
В серой шкурке полосатой
К нам пришёл жилец усатый» и т. д.

Метил явно в один ряд с детскими поэтами, однако природный патриотизм одолел щенячью сентиментальность. И жарко написал на фронт отцу:

«Ты там, ты там во тьме ночной,
В землянке и в огне.



*Надеюсь, в такую лунную ночь я родился
в Днепропетровске... в 1934 году*

Но знаю я, что ты, родной,
Всё думаешь о мне».

Это корявое «О» до сих пор вгоняет меня в краску.

ПЕРВЫЙ УДАР КРИТИКИ

Разумеется, послали с мамой в «Пионерку», и вскоре получили ответ: мол, учись, Мишенька, хорошо, слушайся родителей, пиши стихи, работай над ошибками, всё у тебя получится, пиши нам, дорогой наш мальчик! Я был потрясён ласковым обращением, ибо ещё не знал, что это обычный стиль, а в жизни пишущая братия совсем иная и совсем не такая нежная. Тем не менее, отвергнут! Что делать? Раз не взяли в «Пионерку», создам роман, решил я, и тут же начертил почти главу. В то время я увлекался Новиковым-Прибоем, особенно меня впечатлил эпизод в «Цусиме», когда царский адмирал выбил ногой зубы матросу на палубе, это привело к бунту. Мама внимательно главу прочитала, но в восторг не пришла. «Всё очень интересно. Но у тебя, Мишуня, адмирал ест мороженое в метро. Это ведь ни на что не похоже! Это же советский адмирал, это неприлично!».

Конечно, многое отвлекало от творчества, так, в ташкентском удлинённом бараке, где была наша комнатуха, ютился по соседству мужичок, у которого я взял почитать «Капитал». Прочёл честно пару страниц, очень этим гордился, и мама

гордо говорила знакомым: «Мой Мишутка уже читает Маркса!». В начале 1944 года мы с мамой перебрались в Москву, в комнатку её подруги, там я совсем оторвался от поэзии и окунулся в платоническую, увы, любовь, даже пел на коленках у полненькой старшеклассницы: «У юнги Билля вздрагивают губы, и пристань ищет взглядом сквозь туман».

А в начале 1945 года в освобождённом от немцев Львове папа заставлял меня читать веселящимся генералам «Лесного царя» Иоганна Вольфганга Гёте на немецком, который я тогда изучал для проникновения в фашистский тыл. «Лесного царя» я забыл, зато на всю жизнь запомнил, как папа с офицерами «СМЕРШ» палил в воздух из пистолета в день Победы! И мне тоже дали «Вальтер», и я тоже палил и палил, и это были незабываемые минуты счастья!

УХОД В ЧТЕНИЕ И ШКОЛЬНУЮ ДРАМУ

Как ни ужасно, поэтический жар в послевоенный период полностью ушёл в чтение книг, которые были доступны в то время. Нравилась «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова, проштудировал полное собрание Алексея Толстого (в восторге от «Похождения Невзорова»), прилежно читал русскую и иностранную классику. По указанию главы «СМЕРШ» Виктора Абакумова руководителям окружных контрразведок для просвещения направлялись специальные книги, например, «Очерки секретной службы»

полковника Роуэна, «Совершенно секретно» Ральфа Ингерсолла и, конечно, «Тайная война против Советской России» Сейерса и Кана, несколько отличавшаяся от «Истории партии» под редакцией тов. Сталина. Во Львове я забросил поэзию и осваивал навязанное отцом пианино, которое возненавидел. Папа, до революции — дискант в церковном хоре, обожал оперу и регулярно брал меня во львовский театр оперы и балета (оперу я тогда еле выносил, зато полюбил в зрелые годы). Когда в 1949 году отца перевели в Куйбышев, меня от поэзии оторвала Мельпомена, в школьной самодеятельности я переиграл во многих пьесах Чехова, в горьковском «На дне» играл поочерёдно Барона, Сатина и даже Актёра с его пронизывающим стихом «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!». Кроме того, я музицировал (папа снова нанял учительницу), исполнял на пианино вальс из «Фауста» и «Карнавал» Шумана, надрывно пел романсы от «Ямщик, не гони лошадей!» до «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка и шарлатанка!». Так я метался по горе Геликон, раздираемый на части прекрасными музами, дочками бога Зевса. Увы и ах, поэзия в моей душе не ожила, хотя появилась платоническая любовь из соседней женской школы.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И ВЗЛЁТ МУЗЫ

Поэтическая муза милостиво вернулась ко мне лишь в 1952 году, когда после окончания школы в Куйбышеве я поступил в МГИМО в Москве, сняв с помощью папы комнатку в доме на Твербуле у дальнего потомка русского классика, актёра Камерного театра Дмитрия Сумарокова. Дом был забит коммуналками с актёрами Камерного. Несмотря на бедность, жили они весело и сумбурно, а уж как они любили и умели выпить! Там меня изрядно отшлифовали, меня, провинциала, говорящего «красивей» и — о, позорище! — не знавшего ни американского драматурга Юджина О’Нила, ни гениев Камерного театра Александра Таирова и Алисы Коонен. На Твербуле и ворвалась моя первая любовь, замужняя и прекрасная, а с нею пламенная Муза, извергавшая водопады стихов, до безумия страстных и корявых. Вроде «Сколько б лет ни прошло средь волнений и странствий, для меня Вы — как ласточка в бесконечном пространстве». Студенческие годы проходили не в шикарных ресторациях, а в Иностранке и Ленинской библиотеке, включая секретный спецфонд, где я изрядно подзарядился Ахматовой, Мандельштамом, Кузминым, Г. Ивановым, Гумилёвым. Блока и Хайяма всегда обожал. Написал курсовую «Фашизация государственного строя США» — по этой стране специализировался. Тут умер «вождь народов» (я успел его лицезреть на демонстрации 7 ноября 1952 года), но на

похороны не прорывался. На семинарах студенты бурно обсуждали политические изменения в теории и практике партии. Антисталинские решения XX съезда и «оттепель» принял всем сердцем. Взахлёб читал Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулину, Окуджаву, позднее пристрастился к Иосифу Бродскому и бардовским песням (Галич, Высоцкий, Визбор, Городницкий). Из англичан увлекался Донном, Рэли, Суинберном, Уайльдом, Т. С. Элиотом, поэзией абсурда. Шекспира боготворил беспрекословно, и пытался читать в оригинале. Привязан к волшебным звукам, «божественному глаголу», аллитерации, абсурду и сюрю, к пушкинскому «поэзия должна быть глуповата» и польверленовскому «рифма словно под хмельком». В последние институтские годы, поражённый великим Хемингуэем (самое главное в жизни — это любовь и смерть), неожиданно ушёл в прозу, написав несколько рассказов. Мой закадычный друг, доктор геологии Игорь Крылов, которого я просил посвятить мне венки сонетов, дал беспощадную оценку моего творчества:

«Мой друг, спешу тебе ответить,
Творец, мыслитель и поэт.
Зачем тебе венок сонетов?
Я напишу тебе букет.
Ведь согласишься со мною, милый,
Что в буче нашей боевой
Венки мы ставим у могилы,

А ты ещё — вполне живой.
А коль взглянуть на дело трезво
(Светоний это описал),
Венок придумал Юлий Цезарь,
Он плешь венками прикрывал.
Зачем тебе такие вещи?
Ведь череп твой ничем не блещет».

ОТ МЕЧТЫ О ПИСАТЕЛЬСТВЕ К ДИПЛОМАТИИ И РАЗВЕДКЕ

Играя в футбол с сыном влиятельной критикессы Берты Брайниной, жены известного пушкиноведа Д. Благого, добился встречи с дамой в Переделкино и всучил ей свои рассказы. Как ни удивительно, она их одобрила (видимо, как «Пионерская правда») и посоветовала поступить в Литературный институт. Однако я уже настроился на роль вершителя истории и международных дел (очень импонировала роль советского Талейрана), а советская цензура меня отнюдь не вдохновляла. После окончания МГИМО направлен по линии МИД СССР секретарём консульского отдела в Хельсинки (там в стихах банально ностальгировал). Дипломатическая служба показалась скучной, поэтому приобщился к разведке, а по возвращении в Москву зачислен в её кадры. Женился на актрисе театра Транспорта (Гоголя) Екатерине Вишневской, предварив брак галантными стихами. В 1961 году направлен в туманный

Альбион. Работа в разведке за рубежом подарила мне свободный доступ к чтению, включая Бунина («Окаянные дни»), Замятина, Шмелёва, Кёстлера («Темнота на рассвете»), Оруэлла, Солженицына. Постоянное и зачастую острое общение с иностранными политиками, лекции на английском по приглашению консерваторов et cetera отточили умение дискутировать, избавили от советских пропагандистских штампов. Порешили зачать ребёнка и, по велению Кати, в предзачаточный период завязали, дабы не отравить дитя сивухой, — в эти страшные, почти блокадные дни мне было не до ямбов и хореев!

ЛОНДОН. СЫН САША. ЭВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

В Лондоне в самом начале жили в полуподвальной комнате с видом на помойку, конечно, с соседями, восхищались Лондоном, ходили по музеям и театрам. Вскоре родился Саша, парень, к счастью, не орал по ночам и прилежно тянул молочко из бутылочки. Разумеется, мы заботились о его пищеварении, чуть позже я посвятил ему истинный шедевр:

«Дорогой сыночек Сашка!
Съев свой утренний омлет,
Думай, думай о кашках,
Вылезавших на свет!
Есть кашки всех тенденций,

Всех размеров, всех цветов.
Беспредельность консистенций
Поражает знатоков.
Если все кашки рядом
Посадить, то их не счесть!
Есть кашки даже дяди,
Впрочем, тётки тоже есть!
Коль не хочешь стать букашкой,
Жаждешь счастья для страны,
Думай, думай о кашках,
Чтобы не было войны!»

По этой причине Саша вырос здоровым и политически грамотным, прославился во «Взгляде», женился на Наташе Куниковой, японоведе и переводчице, внучке героя Малой земли Цезаря Куникова. В семье аж четверо взрослых детей: дочка и три сына! Так что программу российской рождаемости потомок перевыполнил. Ныне Александр свет Михалыч возглавляет ТВ компанию ВИД, делает программы для телевидения (Поле чудес и Жди меня) и фильмы. Мы с ним крепко дружим, хотя порой и цапаемся, он мне щедро помогает во всём. Подробно о его богатой биографии на сайте lyubimov.com (там нашлось местечко и для отца). Впрочем, я выпустил не весь жар души в сына (часть ушла в «капустники», потрясавшие ранее МГИМО, а затем посольства, они всегда раздражали начальство),



Дитя на пути в телевидение

оставил кое-что для поэтического осмысления острова фарисеев. Очень возмущали меня гувернантки в Гайд-парке с младенцами в колясках (жертвы капитала не задумывались, что служат родителям, жирующим в кабаках), душа наполнялась презрением к развратным сквайрам, осевшим в роскошных поместьях. Разумеется, как партиец, я отдал дань неравенству и классовой борьбе: «Сэр Генри смакует свой порт на Пэлл-Мэлле, а Джон — своё пиво в дешёвой таверне». Моё поэтическое перо содрогалось от ужасов общества низменного потребления: «Над островом старым из старого моря торжественно всходит кровавый бифштекс!». (И это начертал любитель недожаренных бифштексов с кровью в шикарном ресторане «Симпсон» на лондонском Стрэнде! Ангидрит твою мать! — как деликатно говаривал в узком кругу председатель КГБ Юрий Андропов). Но в то время я был гораздо больше революционером, чем тов. Андропов. «Нет, неужели не вернутся века кровавых революций, когда, как чистая вода, кристальна истина всегда?» Тех, кто уже рвётся потащить меня на дыбу, утешаю: даже Солженицын был в молодости сталинистом. Но Великобритания и её культура заняли важное место в моей душе. Великобритания была интересна и прекрасна, но это никогда не мешало моей работе против НАТО и врагов России. Тем не менее, некоторые граждане почему-то считают меня англофилом. Осенью 1964 года англичане объявили меня персоной нон грата, и мы

всей семьёй гордо перебрались через бушующий Ла-Манш «к себе на Жигули» (так я написал). В Москве недолго писал стихи и прозу, даже сценарий пытался пробить.

ЯВЛЕНИЕ НЕЖНОЙ МУЗЫ, МОЕЙ БЕАТРИЧЕ

Призывно зазвучал горн, и меня направили в безмятежную Данию. Там случилась драма: жена уехала с сыном в Москву и вдруг подала на развод. Бессмысленно искать виновных, карьера моя была сломана, я ещё год промаялся в Дании в гордом одиночестве, а жена Катя вскоре вышла замуж. В 1976 году меня, уже вторично женатого и потому транспортабельного, вновь отправили в Данию в качестве резидента, т.е. шефа резидентуры. Служить в этом качестве, не скрою, приятно, но каждому своё. По натуре я скорее не брандмейстер, а простой топорник. Предпочитаю непосредственно работать с иностранцами, а не осуществлять общее руководство за столом. Само собой разумеется, что я снова влюбился, на сей раз в свою нынешнюю жену Таню. Тут уже поэмы полились нескончаемой рекой, я, как истинный менестрель, трубил на все лады, даже баллады писал. Само знакомство с Таней было предельно поэтичным. «Такие, как я, на дороге не валяются!» — кокетливо заметила она. Не знала, на кого напоролась! Я тут же отреагировал: «Соблазняет очень многих повалиться на дороге, мордой сунуться в дерьмо, вставить в задницу перо! Мы не моемся

годами, проросли насквозь лишаем и кровавыми зубами ногти яростно сгрызаем!». Чуткое сердце Танечки прониклось жалостью и затрепетало...

В Дании я почувствовал, что некая мистическая сила выталкивает меня из моей богоугодной организации на тернистую литературную тропу, давили бюрократия организации и усталость от службы, хотелось нового и неизведанного. Однажды, когда я был в отпуске, мы крепко выпили с моим другом, поэтом Юрием Левитанским, и помчались за добавкой в ресторан в международный аэропорт Шереметьево, единственное место, где ночью торговали водкой. Каково же было моё удивление, когда Юра предъявил погранцу, контролирующему границу, свою книгу с огромным портретом. И тот его с улыбкой пропустил через границу в ресторан за водкой! До сих пор я вспоминаю этот эпизод как триумф поэзии, как победу над железной пятой государства! «Писатель — второе правительство!» — звучали у меня в ушах слова Солженицына. Парадоксально, но в те времена писатели ещё были властителями дум, поэты собирали стадионы! В Дании я написал, наверное, свои лучшие стихи и поэмы. Читатель наверняка удивится, узрев в некоторых «крамолу», однако никаким диссидентом я себя не ощущал, да и советское общество отнюдь не было похоже на безмолвных рабов, как его описывают некоторые нынешние борзописцы. Я читал стихи очень

многим дипломатам, разведчикам, крупным партийцам, но, видно, народ попадался порядочный, — пронесло! Карьера шла в гору! И вот в 1980 году я вернулся на Родину, получил лакомую должность начальника отдела.

ЗА ШЛЕЙФОМ ЦАРИЦЫ САВСКОЙ

Однако Родник Любви не иссяк, а превратился в Ниагару. Ведь любовь — девушка мужественная и бесцеремонная, ей наплевать на генеральские погоны, шикарные квартиры, разборки в парткоме и общественное мнение. Грянул второй развод, который в то время приравнялся в разведке чуть ли не к измене Родине. В результате я написал рапорт об увольнении по собственному желанию, и вскоре был выпущен на волю без особых репрессалий. *Finita la comedia!* Я вдоволь накупал своего «красного коня!» Так Любовь, смешанная с пушкинским «Желаньем славы» и пастернаковским «Провальсировать к славе, шутя, полушалок закусивши, как муку, и еле дыша», вроде бы вывела меня из чиновных сфер в русскую литературу. Не случайно «красный граф» Алексей Толстой говорил: «Чтобы стать писателем, нужно трижды жениться!». Таня вдохновила меня на поэмы и множество стихов, она — мой Ангел, моя Любовь. Её отец — Сергей Федосеевич Афанасьев с тридцатых служил в охране Сталина, сопровождал его на Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую конференции, забрасывался с парашютом за линию фронта



для выполнения спецопераций. После войны папа Тани работал на даче Сталина в Сочи. Там произошло историческое событие: маленькая Танечка и папа возвращались с пляжа, кстати, общего, иногда там веселились и купались «голомя» (sic!) гости вождя, маршалы Ворошилов и Будённый, не стесняясь местной публики. Неожиданно почти у дачи они столкнулись с Иосифом Виссарионовичем. Вождь народов демократично поздоровался за руку с Сергеем Федосеевичем и с Таней, сорвал с куста алую розу и протянул девочке с воистину вещими словами «Красавыцэй будэш!». Сталин не ошибся, Таня стала красавицей, сменила двух мужей, родила сына и обрела своё счастье в вашем покорном слуге...

Добавлю, что отнюдь не считаю все предыдущие браки ущербными, уважаю бывших жён (и не только), и вообще ценю и люблю жизнь, хотя она противоречива, непредсказуема и порой даже необъяснима.

БОИ ЗА МЕСТО В ЖИЗНИ

Итак, я вышел в отставку, я был счастлив в свои сорок шесть, впереди были Свобода и Любовь, мнился мне литературный триумф! Тут снова помог В. Набоков, считавший, что шпионаж, наблюдение за людьми, были важны ему так же, как клистир был важен для Чехова (писатель считал его средством от многих болезней). Как поклонник Шекспира и хороших актрис (sic!), я начал с пьес, причём, сравнительно удачно:

пьесу «Убийство на экспорт» (о вечно коварном ЦРУ, куда я закамуфлировано воткнул стихи любимого Набокова) взял московский областной театр (главреж Михаил Веснин), поставил уже в 1984 году, радиовариант озвучивали звезды М. Державин, Н. Волков, Н. Вилькина. Однако сам процесс «пробивания» пьес меня угнетал. Я и с завлитами встречался, подпавая их в ресторанах, и драматургов Горина и Дворецкого обхаживал, и влиятельного критика Смелянского ублажал. Паровоз еле двигался, колеса скрипели. В Минкультуры СССР и РСФСР меня занудно поучали молодые чиновники, отмечали мою литературную малограмотность, внутренне меня ненавидя, как дипломата, жировавшего за границей (о КГБ я молчал как рыба! Иначе бы сожрали с потрохами!). Пробивал несколько пьес, две опубликовал в журнале «Детектив и политика» у Юлиана Семёнова (масса моей публицистики в газете «Совершенно секретно» при нём и при Артёме Боровике), ещё одну пьесу (пародию на разведку) поставили в Душанбе(!) и в Астрахани. Встречался с мэтрами М. Захаровым, И. Владимировым, даже с самим Г. Товстоноговым, однако, безуспешно.

Всесоюзной сенсацией спектакль «Убийство на экспорт» не стал, знаменитым я не проснулся. После глухой конспирации в разведке стеснялся выходить и кланяться на сцене. Выступление перед слепыми во Всероссийском Обществе Слепых с «Убийством» окончательно меня сразило, я понял,

что отнюдь не великий драматург (наконец-то!), к тому же, мне не нравилось делить успех с актёрами и режиссёром. Перешёл на суровую прозу.

СЛАДКОЕ БРЕМЯ СЛАВЫ

Известность пришла в 1990 году, когда пятимиллионный «Огонёк» опубликовал мой политический роман «И ад следовал за ним» (впоследствии режиссёр Владимир Бортко поставил по нему звёздный фильм «Душа шпиона»). Именно политический, хотя там шпионская закрутка. КГБ отреагировал странно, но предсказуемо: мол, у моего героя бутылка — в одной руке, а презерватив — в другой. Кстати, трезвенников и импотентов я в разведке, к счастью, не встречал, а роман у меня о патриоте, который внутренне свободен и не выносит глупостей советской системы. Наконец, стал знаменитым, но с этим чувством опять же не просыпался. Более того, сразу осознал, что попал в беспощадный мир, где чужаков внешне любят и уважают, но не допускают в свой священный клан. Но колобок покатился, поплыл по течению дальше. Отрывок «Голгофа» из политического (а не шпионского!) и апокрифического романа «Декамерон шпионов» вызвал скандал в нашем обществе, ещё не отравленном апокрифами-фейками. Не забыл о туманном Альбионе — мемуар-роман «Гуляния с Чеширским котом». Уже много прозы накатал, последнее — мемуары «Вариант шедевра» и «Раненый

ангел». А сколько телевизионных подмостков я истоптал, содрогаясь от рекламного соуса «легендарного разведчика»!

ЗАЧЕМ Я ЖИЛ?

Что ещё о себе? «Стиль — это человек — писал С. Моэм. — Афоризм этот говорит так много, что не значит почти ничего». Не привязан к показной вежливости. Люблю твидовые пиджаки (цветной платочек в кармане), брюки из кавалерийской саржи, сосиски с капустой и свиные ушики. Обожаю блондинок, но склонен к исключениям. Мятущийся Близнец по духу, эгоцентричен в меру, порой капризен. Если честно, на подступах к девяностолетию, почувствовал, что уже неприлично писать. Внезапно обнаружил, что жизнь до безобразия коротка, хотя оказалось, что я прожил целых две жизни, и мой литературный стаж намного превысил двадцать пять лет служения Родине. Сейчас писателем или поэтом считается любой человек, издавший книгу. Скоро в оные попадут и роботы. Для меня писатели — это немногие избранные, истинные мастера слова. Вершина — это Андрей Платонов, у которого всё от Бога. Сам я — всего лишь человек пишущий, homo skribens. Ещё лучше — невольный свидетель века. А наш век не лучше и не хуже прежних. Он остался по шекспировскому «Макбету»: «Жизнь — всего лишь бродячая тень, сказка, рассказанная идиотом, полная звуков и ярости, без всякого смысла». Зачем издаю старые стихи?

Нет, не желание славы, не мечта остаться в сомнительной вечности гонят меня в прошлое! Просто стихи — это чистота и честность, это зеркало меняющейся души. Просто хочу вернуться на свои зелёные берега и вновь ощутить другого себя, свои тогдашние убеждения и сомнения, будоражащую музыку прошедшей жизни. Часть моей открывшейся, но уже ускользающей души.

МИХАИЛ ЛЮБИМОВ

НОН-ФИКШН О МАМЕ И ПАПЕ (по делу из Центрального архива ФСБ РФ)

Мама умерла внезапно 22 марта 1946 г. от паралича сердца (таков был тогдашний диагноз).

В тот вечер у нас во львовской квартире (стены расписаны через трафареты под райский сад с жар-птицами) веселились гости. Мама в длинном вечернем платье фотографировалась, смеялась, но вдруг ей стало плохо. Меня мигом изолировали в отдельной комнате, и я только слышал, как суетились люди, хлопали двери и отчаянно лаяла наша собачка Ролька.

Запах лекарств заполнил квартиру, папа ходил с перекошенным лицом...

Прощались с мамой в часовенке на Лычаковском кладбище, теперь прах мамы уже в Москве, в могиле на Ваганьковском кладбище. От мамы сохранилась лишь старомодная, чёрная сумка — и всё. Больше ничего не осталось!

СВИДЕТЕЛЬСТВА РАСКРЕЧЕННОГО АРХИВА ФСБ

И вот совсем недавно в моих руках оказалась копия её письма в секретно-политический отдел НКВД в связи с арестом моего отца, тогда старшего лейтенанта государственной безопасности. Обвинение: троцкист и враг



Мама, папа и Миша

народа. Копия рассекреченного дела получена из ФСБ совершенно официально и помогает понять, каким образом формально обставлялись сталинские репрессии. Отец — Любимов Пётр Фёдорович, 1900 г. р., русский, о своём аресте почти ничего не рассказывал, более того, относился к аресту, как к нелепому и даже забавному случаю. Видимо, он был рад, что его не расстреляли, а лишь уволили из органов (чуть позже смягчили, оставив в запасе), более того, даже помогли устроиться на приличную работу в Киеве. Тем более, что продержали его в тюрьме лишь несколько месяцев. Однако, уже во время войны, которую он прошёл в «СМЕРШе», его большой шеф и приятель Виктор Семёнович Абакумов огорчил папу: «Петя, какой же идиот понесёт дело сидельца в ЦК для получения “генерала”?» Это было неприятно! Действительно, как хорошо быть генералом, и кто же не хочет стать генералом? Но вышвырнули папу, большевика с 1918 года, не на улицу, а на должность уполномоченного по мерам и весам измерительных приборов в Киеве с трёхкомнатной(!) квартирой на улице 25-го октября(!). Тогда он был в одиночестве, а в поздние, советские времена — это место превратилось в солидный Комитет стандартов, фактически, министерство — вот он закон Паркинсона!

Центральный архив ФСБ РФ

1

С. С. С. Р.

РОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРДЕР № 200

8 февраля дня 1937.

Выдан _____

_____ Главного
управления Государственной Безопасности НКВД
на производство
Обыска и ареста
Любимова
Петра Федоровича
Давы пер. 9. 29 кв. 2

Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел СССР
Комиссар
Государственной Безопасности 1-го ранга
Начальник Второго Отдела ГУГБ
Комиссар
Государственной Безопасности 2-го ранга

Вка: _____

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПАПЫ

Папа в органах ЧК-ОГПУ с 1918-го, пережил сумасшедшие годы революции и гражданской войны, ожесточённую борьбу с антоновцами в Тамбовском губчека (1920–22гг), с додловцами в Гомельской области. «Гомельским судом был приговорён к 4-м годам лишения свободы за самовольный расстрел бандита. В 1926 году амнистирован постановлением ВЦИК» (дело ФСБ). Даже в Сибирь выезжал для борьбы с инсургентами, которых тогда называли бандитами. Вдоволь нахлебался всего. Долго работал в ключевом СПО — секретно-политическом отделе (его возглавляли такие деятели как Агранов, Курский, Молчанов, все пошли под нож в 37-м). Великий Маяковский, друг Агранова, восторженно писал: «Громи врага секретчики и крой КРО!» (контрразведывательный отдел — М. Л.). Ясно, что папин отдел богоугодным заведением не был.

Пётр Фёдорович Любимов происходил из крестьянской семьи в городишке Кадом, что был в Тамбовской губернии, окончил церковно-приходскую школу, даже пел с братом в церковном хоре, имел неплохой лирический тенор. Немного работал слесарем. В революцию 1917 года двинулся в Тамбов на заработки, где устроился в ЧК, как достойный «классовый элемент». Позже переведён в Москву в ЧК-ОГПУ, там закончил рабфак. Так что фактически хорошего образования не имел. Из заполненной им в тридцать

седьмом анкеты арестованного вырисовывается более радужная, но странная картина: профессии и специальности, оказывается, нет, социальное положение из крестьян-батраков(!), образование среднее. Правда, отец любил книги, особенно Толстого и Чехова, много читал, часто ходил в театр, особенно, в оперу, мечтал о карьере певца. О Троцком он, конечно, слышал, даже участвовал в аресте его жены (однажды поведал, как она возмущалась: «Вы знаете, что подняли руку на вождя революции?!»), но вряд ли представлял, что такое троцкизм, кроме как оппозиция сталинскому режиму. Я сам не вылезал из изучения партийных документов, даже сдавал много раз экзамены по истории партии, включая на кандидата исторических наук, я даже Троцкого читал, и что я могу сказать? До революции Ильич не раз клеймил его, как «иудушку», но в результате принял в РСДРП(б) и даже дневал и ночевал с ним в Смольном в роковые дни революции. Троцкий был одним из организаторов Октября, создателем Красной армии, победившей в гражданской войне. Лозунг мировой революции тогда разделяла вся партия, включая Сталина, который в 1920 году вместе с Тухачевским участвовал в войне с Польшей с целью сделать её коммунистической, правда, безрезультатно. Сам Сталин, в угоду союзникам распустил Коминтерн в 1943 году, активно поддерживал революцию в Китае, создание КНР и после войны успешно преобразил

Восточную Европу в «страны народной демократии» — разве это отказ от мировой революции? Хрущёв и позже Брежнев поддерживали революционную Кубу, Никарагуа, Вьетнам и большинство национально-освободительных движений. В перестройку всё это сошло на нет, а ныне США и другие страны экспортируют цветные и подобные революции во все страны, включая Россию. В оппозиции Троцкий проиграл Сталину, был осуждён партией, выслан в Алма-Ату, а затем за кордон. Там он проводил мысль о «термидоре» революции и неизбежном перерождении партии в «новый класс» (это, кстати, сбылось). Сталин его ненавидел всеми фибрами души и уничтожил в Мексике. Собственно, какой троцкизм мог исповедовать мой отец и многие другие не шибко образованные соотечественники? Да никакой! В те революционные времена это понимали как несогласие с линией партии, этого было достаточно для клейма «врагов народа».

ПРИРОЖДЁННАЯ СТУКАЧКА САВВИНА

Так как же развивалось дело? Смотрим документы. «В августе 1936 г. в 4-й Отдел ГУГБ поступило заявление от Оперуполномоченного 1 отделения Особого отдела УНКВД Западной области Саввиной. Она сообщала: «во время моего пребывания в Москве в 1931 г. (подумать только: целых пять лет оперативная дама раздумывала, настучать

или нет! Кстати, до доноса, как отмечено в деле, ранее встречалась с нижеупомянутым Рудини, что наводит на некоторые крамольные мысли — М. Л.) познакомилась на квартире оперативного работника СПО НКВД СССР Любимова с неким Рудини Петром Борисовичем, который в разговорах с Саввиной проявил себя как троцкист и в личной беседе с ней высказывался в к-р (контрреволюционном — М. Л.) клеветническом духе о руководстве ВКП(б) и положении в стране». Кроме этой чекистки в гостях у отца в квартире в Даевом переулке было ещё несколько сослуживцев, которые и привели с собой бдительную даму из Смоленска. Согласно её доносу, никто из присутствующих этого разговора не слышал, Саввина якобы сообщила тут же о своём разговоре моему отцу, но он только высказал своё недоумение. Собственно, вся кляуза повисла в воздухе, однако, чтобы закрыть дело, отца заставили написать объяснение. Это он и сделал, полностью отрицая и разговор с Саввиной, и знакомство с Рудини до прихода его на вечеринку. Нормальному человеку трудно представить психоз в стране, развёрнутый под руководством ВКП(б) во главе с тов. Сталиным. Можно только вообразить (если хватит мозгов), что произойдёт, если все граждане начнут вспоминать с кем и о чём они говорили пять лет назад на разных вечеринках!

Теперь стоит представить, сколько драгоценных чекистских сил потрачено на изучение этого доноса: проведена установка

всех действующих лиц через разные картотеки, собраны на них сведения, возможно, за кем-то выставлено наружное наблюдение, организована прослушка. А ведь таких доносов даже официально было свыше двух миллионов, и становится понятно, почему органы работали почти до самого утра. Утешало только, как писал Н. Эрдман, что «в миллионах разных спален спят все люди на земле. Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле». И всё равно бедняги-чекисты не успевали!

НЕ ЖЕНИСЬ НА РОДСТВЕННИЦАХ ВРАГОВ НАРОДА

В данном случае после объяснительного рапорта отца начальство делу хода не дало, однако вскоре внезапно всплыло другое обстоятельство: был арестован «активный член к-р организации Нестор Голубенко», женатый на Татьяне Болтянской, троюродной сестре моей мамы. Разумеется, отец был знаком с Голубенко, вместе с женой бывал у него дома, принимал супругов у себя. Папа снова пишет рапорт, в котором объясняет, что «он изредка встречался с Голубенко в семейной обстановке и что во время имевших место встреч Голубенко в его присутствии никаких разговоров политического характера не вёл и никаких антисоветских высказываний или настроений с его стороны он — Любимов — не замечал». Чуть позже несчастный Голубенко выбросился в пролёт лестницы на

Лубянке и, умирая, попросил вызвать отца. Умиравшего тут же грозно спросили: «Зачем?!» Голубенко ответил: «Любимов, повидавши меня, расскажет моей жене о моём состоянии». Но рьяные чекисты не слезали с умирающего. На вопрос Голубенко: «А Вы рассказывали Любимову о Ваших настроениях?..» он ответил: «Нет, не говорил». На повторный вопрос (представим этот жуткий допрос!) Голубенко ответил также отрицательно. Но и этого показалось мало, поэтому был допрошен другой «участник к р группы» — Самойлов, который подтвердил, что Голубенко является дальним родственником моего отца по жене и что «в присутствии этого сотрудника НКВД (моего отца — М. Л.) никаких антисоветских разговоров не велось». Казалось бы, вопрос исчерпан, «больше никаких материалов, устанавливающих связь Любимова с Голубенко, а также о характере этой связи, в деле не имеется». Ан нет! Чекисты прекрасно знали, что лучше перебдить, чем недобдить, этого требовала великая партия, показатели арестов врагов народа должны расти такими же темпами, как рост добычи угля и стали, как рост урожайности и сознательности трудящихся! Поэтому в феврале 1937 года после обыска на квартире в Даевом переулке Любимов П. Ф. был арестован, сдал на хранение наручные часы, получил взамен квитанцию, приобретённую к следственному делу, и был препровождён в камеру.

ДРАМА ЕЩЁ НЕ АРЕСТОВАННОЙ МАМЫ

Дальше речь пойдёт не об отце, а о моей маме Людмиле (отец обращался к ней не иначе, как к Милочке), о её терзаниях и муках в связи с этим арестом.

После ареста маму с дитятей (то бишь со мною) не отправили в ссылку или «во глубину сибирских руд», как множество членов семей «врагов народа», однако сарафанное радио тут же разнесло весть об аресте, и венец творения, честные советские люди, заволновались: а как же квартира врага народа? Претендентов из соседей хватало, на редкость скоропалительно состоялся суд, постановивший уплотнить или выселить семью проклятого врага народа. Правда, какая-то умная голова, ещё не сменившая законность на революционную целесообразность, посоветовала предварительно запросить всемогущие органы. Ведь Любимов только арестован, но ещё не осуждён! К счастью, некий умник из органов подтвердил, что, разумеется, выселение и т.п. возможны лишь после вынесения приговора (а злые языки, иностранные агенты, утверждают, что советская власть во всём всегда несправедлива).

Мама была в отчаянии: шутка ли, остаться одной с трёхлеткой на руках и с мрачной перспективой. Более того, её мучило, что отец попал в тюрьму исключительно по её вине, угораздило же ей быть троюродной сестрой жены государственного



1908-1946

преступника! Что делать и что вообще можно сделать, когда вокруг царит такая вакханалия? Маму вызвали в папин отдел на допрос, детали беседы нигде не отражены. Однако после этого визита взволнованная Милочка пишет письмо Виктору Николаевичу Ильину, другу дома и коллеге папы по секретно-политическому отделу, который вёл допрос. Разумеется, Ильин передаёт это письмо чекистам, занимавшимся отцом, и они прилежно приобщают его к следственному делу. Мама пишет, что на встрече нервничала и волновалась, а сейчас желает изложить всё в письменном виде. Тут она берёт всю вину на себя: приехала в ноябре 1931 года в Москву, жить негде, временно поселилась у троюродной сестры Тани, муж её оказался недружелюбным, более того, «этот человек ужасный деспот, хам, самовлюблённый, в общем неприятный тип». Думается, это не так или не совсем так, но мама пытается спасти всю нашу семью, как-то отмыться, не писать же, что враг народа был добряком и рубахой-парнем? Не написала же, что агент царской охранки или друг Троцкого, в конце концов! А что касается хамов, то Россия никогда не жаловалась на их дефицит, и даже покойный тов. Ленин считал Иосифа Сталина грубияном, но генсеком его всё же сделал. Да, они с мужем приглашали чету Голубенко на новоселье в 1932 году, в Даев пер., «они немного посидели и уехали» (!). А в 1936 году маму посетила Татьяна, за которой потом заехал на машине муж, не раздевался (!), забрал жену

и уехал. Всеми силами мама пытается доказать, что никакой близости с троцкистом и вражиной Голубенко не было и в помине, даже совсем наоборот. Приходили мама с отцом к Голубенко на празднование Великого Октября 7 ноября, пришли поздно, гости уже отужинали и играли в шахматы (интересный штрих, а говорят, что на Руси допиваются до положения риз!). Хозяин их встретил, познакомил с гостями и ушёл доигрывать партию, а «Любимов остался в дамском обществе», словно предчувствовал, что Голубенко арестуют. Правда, признаётся мама, один раз с мужем и ребёнком они пришли в гости к соседям Голубенко, чете Кащенко (мама в своё время переселилась к ним от «хама» Голубенко), там появился и Голубенко, «у которого попросили машину, чтобы отвезти ребёнка» (вот и я попал в мировую историю!). Как пишет мама, мой отец не одобрял контакты с Голубенко. «Считаю необходимым подчеркнуть, что каждый намечаемый мною «визит» к Голубенко стоил всегда больших уговоров, слёз и скандалов, я всегда ссылалась на то, что мне неудобно избегать с ними встреч, т. к. я считала себя обязанной, благодаря тому, что она меня приютила и этим дала мне возможность жить в Москве. Дело в том, что Любимов не только избегал общество Голубенко, но и общество других моих знакомых, т. к. Любимов всегда больше предпочитал свою среду». Увы, девушка Саввина, наклепавшая на папу, была именно из этой среды, да и сам Рудини раньше служил

в ЧК. Куда же деваться? Разве что укрыться от врагов народа на необитаемом острове? Далее мама уже грудью пошла на защиту отца: «Я же, понятно, имела своих знакомых потому, что Любимов работал дни и ночи(!), а я была предоставлена самой себе». Когда арестовали Голубенко, отец попросил маму разорвать отношения с этой семьёй. «В конце концов, когда из деликатной формы Любимов перешёл в угрожающее наступление вплоть до развода со мной, я обещала с женой Голубенко прекратить встречи». Но, по признанию мамы, слова она не сдержала, и один раз в январе 1937 года «навестила жену Голубенко, она была больна после операции в больнице. Понятно, об этом случае я ему не рассказала». Конец письма — это уже крещендо: «За эти три месяца я многое поняла, я научилась тому, чему меня тщетно учил Любимов. Меня невыносимо мучает совесть, что из-за моих каприза и прихоти страдает Любимов, мне больно, что этот безукоризненно честный человек морально погибает или из-за какого-то недоразумения, или из-за клеветы». Мне очень жалко маму, видно, как она изворачивается в своих попытках обелить отца, и, действительно, кто же мог знать, что троюродная сестрица выйдет замуж за врага народа, потом, кстати, реабилитированного?

ВСЕ МЫ — БАРАНЫ И ЖЕРТВЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Но любой человек — жертва обстоятельств, и в обстоятельствах чрезвычайных он меняется чрезвычайно, до неузнаваемости. Представьте теперь, дорогой читатель, в каком смятении метались советские люди, оглушённые свистом и визгом всесоюзной кампании по ловле и умерщвлению пресловутых врагов народа! Как судорожно писали друг на друга доносы, как подслушивали друг друга и выискивали, что бы такое грязненькое воплотить на бумаге! Одни метили в тех, кто просто не нравился, либо мордой не вышел, либо дорогу перешёл, либо мешал перебраться на следующую ступеньку карьеры — да мало ли у венца творения поводов для сотворения гадости? А уж жилплощадь заполучить, да ещё в хорошем месте на Сретенке, в условиях массовой скученности населения — это мечта жива и ныне, когда некоторые господа даже отстроили золотые унитазы. История показывает, что власть в любой стране может раздуть любой вид массового психоза, будь то космополитизм (сам видел, как в конце 40-х выгоняли евреев из московского трамвая), или квасной патриотизм, когда ревут трубы и гремят марши. Или русофобия на самый идиотский манер с придумкой фантастических историй о злодеяниях русских... Хомо сапиенс подвержен влиянию и при надлежащей пропагандистской обработке легко преобразуется в стадного барана. Как писал Бертольд Брехт,

«Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны». Тем не менее — о, роковая случайность — уже упомянутый Виктор Ильин во время дежурства по отделу и доклада начальнику осмелился молвить: «За что сидит Любимов? Как он может быть троцкистом, если он только слышал о нём? Дело же его выеденного яйца не стоит». Так рассказывал нам с папой сам Виктор Николаевич в 50-х, когда после смерти вождя народов вернулся из лубянской тюрьмы, где просидел в одиночке целых девять лет (потом ЦК назначил его оргсекретарём союза московских писателей). Короче, папу освободили, мама плакала от счастья. Папа был весел и на ночь своим прекрасным тенором регулярно исполнял колыбельную, написанную самим Моцартом: «Спи, моя радость, усни. Глазки скорее сомкни». А мама читала мне Сельму Лагерлёф о приключениях Нильса с дикими гусями. Предвоенная жизнь казалась идиллической, даже я в свои семь лет был влюблён в соседскую девочку Лену, и играл с ней в дворовой песочнице в «папу и маму»...

ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ, КАК БЕДСТВИЕ

И вдруг грянула война, проклятая война! Как снег на голову, как внезапное землетрясение! Никто не сомневался, что всемогущая Красная Армия через пару дней, крепко дав по зубам фашистскому зверю, отгонит врага в собственную дыру — об этом постоянно твердило радио и писали

газеты. Папу тут же призвали в родные органы, забыв о его троцкистских приключениях, и отправили на фронт в особый отдел, военную контрразведку — будущий «Смерть шпионам» («СМЕРШ»). Увиделись мы лишь в 1944 году. Мама, недолго раздумывая, собрала вещи и меня, мы погрузились в эшелон и направились к её родителям в Днепропетровск, где собирались переждать бурное время. Эвакуация в моём детском мозгу казалась приключением, когда можно любоваться, как прожекторы нащупывают в небе вражеские самолёты со строчащими пулемётами, но на самом деле это страшная беда, это череда безмерных страданий. Массы несчастных людей с чемоданами и тюками, толпы, штурмующие переполненные поезда с людьми на крышах вагонов, истошные крики, свистки, внезапный приказ спрятаться в бомбоубежище...

Не случайно я плохо помню время своего детства — оно пролетело, как огненный смерч! Летом 1941 года мы с мамой прибыли в Днепропетровск к моему деду, видному профессору медицины, и бабушке, тяжело больной диабетом. На семейном совете благоразумно решили эвакуироваться подальше, к тетушке Ане в город Таганрог на Азовском море. Нет сомнения, что если бы мама со мной осталась в Киеве, то с помощью добрых соседей немцы быстро вычислили бы и уничтожили маму и меня, чекистское отродье, и гнили бы мы в Бабьем Яре или ином



Фронт 1943. Папа в центре с автоматом

приюте мёртвых. Вот письмо от отца 27.07.1941 года, он проходил переподготовку в районе Киева: «Мои родные, Милуша и Мишуня! По ряду понятных обстоятельств писать вам, к сожалению, не мог... Теперь я зачислен на работу в особый отдел Юго-Западного фронта и, более-менее, буду находиться в одном месте... Вчера перевёл вам по почте (телеграфом не принимают) 1500 руб. А вообще пошлю аттестат, по которому можно будет получать деньги в любом военкомате или НКВД... Мишутка, как твои дела? Чем ты занимаешься? Хорошо ли умеешь читать и писать? Учишь ли немецкий язык? Занимаешься ли физкультурой? Напиши мне обязательно, Мишка-Шишка... Обнимаю и целую вас всех. Папка-Потапка». Но немец пёр и пёр, куда драть дальше? Боже, как тяжело было маме вывозить в эвакуацию меня и нездоровых родителей со всеми пожитками! В памяти осталась страшная пересадка в Сталинграде: проход через давящую толпу, перекошенное лицо проводника, не пускающего маму в вагон... и вот она втискивает меня в окошко вагона, вот меня хватают крепкие, прокуренные руки солдат... я — в ужасе... я остаюсь без мамы! Поезд трогается... мама появляется, словно в сказке, ей удалось всё же влезть в другой вагон! Я счастлив!

МАМА, БЕДНАЯ МАМА

Боже, сколько она натерпелась! Обосновались в Ташкенте. Одноэтажный, удлинённый барачный дом, комната, заваленная саксаулом (там водились скорпионы), арыки, по которым пускал бумажные кораблики. Дед с бабушкой умерли почти одновременно. Жили на отцовский аттестат, он отдал его нам. Во дворе верховодила шпана. Курили махорку, используя зажигалки-самodelки из стрелянных гильз. Крупным событием явилось моё пребывание с мамой в бане, видимо, по велению неба — женской. О, эти милые треугольнички, с которых я не спускал глаз, опущенных якобы долу... «Зачем вы взяли мальчика? Он же уже взрослый!» — укоряли маму голые бабы. Мы с ребятами бесконечно играли «в войну», «немцами», разумеется, быть никто не хотел, бросали жребий. Уж не знаю, почему, но во дворе мне приклеили две клички «Гейббельс» и «Красножопый», в первом случае это объяснялось большой головой, второе — загадка до сих пор. Благодаря заботе отца, мы не голодали, я занимался немецким языком, дабы быстрее уйти во фронтовую разведку и «брать языка», за мамой начал ухаживать лётчик-подполковник, прилетавший в Ташкент из Ирана, оккупированного тогда нашими и английскими войсками, он заваливал меня подарками, запомнился мохеровый свитер и масса банок американской свиной тушёнки. Но я был неподкупен и горд, подарки принимал,

но любил только папу, а не этого хлыщеватого подполковника. Мама иногда вечерами оставляла меня в моих саксаулах, где водились скорпионы, и уходила к нему на свидания. Меня это бесило до слёз, я плакал в одиночестве и просил Бога, чтобы мама быстрее вернулась. И она возвращалась!

ПАПКА-ПОТАПКА ВСЕГДА С СЫНОМ

С Папкой-Потапкой шла постоянная переписка, хотя почта приходила нерегулярно, он писал мне и маме одновременно. Вот его письмо: «Мила, получил от тебя целую пачку писем. Самое приятное из них — последнее (от 22. XI), это то письмо, которое ты писала мне на фронт. Его я получил только сию минуту — принесла рыжая девчонка из ППС (полевая почтовая служба — М. Л.). Вот сейчас я сижу в деревенской избушке в своём «кабинете» и пишу это письмо. Одет я очень тепло: валенки, двое тёплых чулок (одни из них — меховые унты), шапка-ушанка, тёплое бельё, меховая безрукавка (самурайка), длинный полушубок, перчатки кожаные, а под ними шерстяные, тёплые стёганные штаны. Когда всё это надеваешь, то никакой мороз не страшен, даже на открытом самолёте». (Отец на всех фронтах служил в авиации, где было соответствующее материальное обеспечение). Далее: «Ты напрасно хлопочешь насчёт посылки для меня. Получить её, конечно, приятно, но разве можно в твоём положении заниматься такими вещами? У меня нет ничего лишнего,

но меня ведь государство снабжает всем необходимым, даже 100 г. водки ежедневно. Очень прошу тебя больше не посылать мне посылок, не отрывать от себя, т. к. в этом нет острой необходимости». Для письменного общения со мной папа придумал мальчика Костьку, который тоже воюет и лупит немцев, этому Костьке я очень завидовал, ибо, как и все ребята, рвался на фронт. «Мишенька, родной! Посылаю тебе боевой, фронтовой, пламенный привет! Будь уверен, что папка твой не подкачает. Пока он жив и здоров, пока у него бьётся сердце, пока он видит, а руки его работают, пока есть патроны в автомате и пистолете, — он будет разить проклятую фашистскую гадину, которая разлучила тебя со своим папкой. Для папки твоего будет самым приятным, если ты будешь всё время учиться на «отлично». У тебя очень много ошибок в письме. Ты запоминай, когда твои ошибки поправляют. Ты пишешь, что послал мне “письмо”, разве “письмо”?» Естественно, папа, кроме пафосных заявлений и замечаний, рассказывал, например, что «Костька получил звание “сержант”, летает на истребителях и штурмовиках. На днях он летал на истребителе и сбил два самолёта противника Me-109 (мессершмит), это тоже истребитель одномоторный и одноместный». Так мы переписывались всю войну, пока отца после освобождения Львова не назначили зам. начальника управления «СМЕРШ» Прикарпатского военного округа. Мама рвалась в Москву, и уже в начале

1944 года мы туда переехали и остановились в комнате подруги мамы, жившей в районе Большой Серпуховской. В Москве ещё оставались аэроостаты и затемнение. Мама поступила на работу в какую-то артель, делавшую бусы, я ей помогал и исправно раскрашивал изнутри пустые стекляшки-заготовки, которые потом нанизывали и превращали в красочное украшение. С восторгом лицезрели знаменитый проход немецких пленных через Москву, тогда меня поразило, что многие наши женщины, не боясь охранников, охали и давали пленным хлеб и другую жратву.

ОБРЕЛИ СЧАСТЬЕ В ОСВОБОЖДЁННОМ ЛЬВОВЕ

Уже к концу 1944 года после настойчивых призывов отца мы с мамой прибыли во Львов. Это была уже абсолютно другая жизнь, без жмыха и жалкой коммунальной комнатухи. Папин «СМЕРШ» расположился на улице Гвардейской (ранее Кадетской ныне — парадокс истории! — Героев майдана) в бывшем здании гестапо. На торце строения ещё оставались глубокие следы от сбитой свастики, рядом — Стрыйский парк, уютная тихая улочка, где прежде в особнячках размещались фашистские бонзы, которых сменили сливки обкома партии и отцы города. Внизу для пущей радости — управление Министерства государственной безопасности. Мебель в то время попросту забирали из опустевших вражеских учреждений и квартир,

гоняли за ней даже грузовики в Польшу и Германию. Так что нас встретили столовый гарнитур из морёного дуба, с резным буфетом, причудливо изогнутыми спинками стульев и игровая спальня из карельской берёзы для счастливых супругов. Не знали, куда девать трофейные машины, за отцом числилось целых пять штук, включая «хорх» и мою любимую бежевую «ауди» с открытым верхом. Для личных целей отец ещё за гроши прикупил себе маленький «опель», но водить он не умел, хозяйской жилкой не отличался, забыл спустить зимой воду и угробил мотор.

СМЕРТЬ — ЭТО ГЛАВНЫЙ ВРАГ

Мама отвела меня в 3-й класс тамошней школы, там изучали украинский язык и литературу, даже Панаса Мирного и Лесю Украинку, там же я закончил семилетку. Мама за время войны измоталась и постарела, у неё появилась астма и она курила лечебные папироски. Всегда была жизнерадостна, очень любила гостей и вдруг!..

О, как протяжно, тонко, невыносимо лаяла, выла маленькая собачка Ролька! Отец после смерти мамы взял меня под более плотную опеку. Каждое лето выезжал со мной на курорты Крыма и Кавказа (летали тогда через Москву на транспортных «дугласах»), обучил плаванью во львовском бассейне, регулярно ходил со мной в театр, особенно,

в оперу, продолжалось моё обучение игре на пианино (как в хороших семьях).

ПАПА ПОДАЁТ В ОТСТАВКУ

Отца в 1949 году перевели на работу в Куйбышев (Самара), где я в 1952 году закончил школу и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Отца, видно, укатали крутые чекистские горки и, когда в 1950 году ему стукнуло пятьдесят (а выслуга уже была за тридцать лет), он подал в отставку с приличной должности заместителя начальника управления военной контрразведки Приволжского военного округа в г. Куйбышеве (Самара). Получил полковничью пенсию «по состоянию здоровья» (практически был здоров). Отправив меня в Москву, отец разменял свою трёхкомнатную квартиру в Куйбышеве на скромную московскую в Тестовском посёлке на улице Литвина-Седого (герой революции 1905 года, везёт нам с революциями!). Поступил на работу в Комитет по делам стандартов, этим занимался в Киеве перед войной. Когда началась хрущёвская оттепель и из тюрем покатился вал заключённых, отца вдруг вызвали в некую комиссию по жалобе выпущенной бандеровки, которую он якобы ударил по физиономии. Наверное, так оно и было (украинские бандиты — народ отчаянный, и часто вели себя на допросах вызывающе), но отец написал объяснительку,

в деле поставили точку. Позднее отца, как сидельца, даже приобщили к жертвам репрессий и выдали бумагу, похожую на похвальную грамоту. Папа не женился, пока осенью 1958 г. я не выпорхнул из гнезда в Хельсинки по линии МИДа, а по возвращении и женитьбе отдал нам с женой свою квартиру на Соколе, а сам поселился в коммунальной, у своей новой жены — актрисы ЦТСА, красавицы, снимавшейся у Эйзенштейна в «Грозном» — Жени Багорской.

Реабилитация в связи с «троцкизмом» появилась через двадцать с гаком лет после его смерти в «Заключении (о реабилитации) по уголовному делу номер Р-26710 в отношении Любимова П. Ф. от 3 июня 2003 года». В этом документе зафиксировано, что «показания Любимова П. Ф. следственным путём не проверены и не опровергнуты. Достаточных доказательств совершения инкриминированного ему преступления в ходе предварительного следствия не добыто». Дальше скучно и противно читать это холодное, бюрократическое творение, это «в связи», «с учётом», «в соответствии», в общем, папа, наверное, облегчённо вздохнул на небесах от счастья: лучше поздно, чем никогда! Спасибо, товарищи! Наконец-то реабилитировали! Да ещё за подписью не какого-нибудь ефрейтора, а старшего военного прокурора ГВП, полковника юстиции.

СЧАСТЬЕ ПЕНСИОНЕРА

Папа счастливо жил со своей второй женой, оба прекрасно пели и иногда в гостях на два голоса исполняли оруджавскую «Пока земля ещё вертится...». Но счастье продолжалось недолго: его жена, актриса Женя Багорская, скоропостижно скончалась, он остался с её престарелой матерью, которую проводил вскоре в последний путь.

Отец никогда не жаловался на свои невзгоды, старел он красиво в своих седицах, писал мне весёлые письма в Копенгаген, скучал. Иногда брал внука Сашку на каток, общался и выпивал с моей бывшей женой Катей и её мужем, любил вспоминать свою первую заграничную поездку вокруг Европы, летом снимал скромную веранду в деревне Мелькисарово, рядом с Шереметьево, и не вздыхал по утраченному львовскому особняку и роскошным трофейным авто. Много раз я пытался вытащить папу к себе в Копенгаген, просил об этом и начальство, и ЦК КПСС, однако мне давали от ворот поворот, хотя случаи приглашения родителей были. Почему? Если бы не доверяли и боялись, что мы с отцом рванём на Запад в тенёта вражеских разведок, то вряд ли назначили меня резидентом. Скорее всего, косность и обычная перестраховка. В августе 1978 года моё начальство шифртелеграммой сообщило об инфаркте отца, и я тут же вылетел из Копенгагена в Москву. Успел поговорить

и проститься с папой перед смертью. Похоронили полковника Любимова Петра Фёдоровича со всеми воинскими почестями, пальнув в небо тремя оружейными залпами. Разве этого не заслужил человек, прошедший через все перипетии нашего Отечества, кавалер орденов Ленина, двух боевых Красного Знамени, Красной Звезды и двух Отечественной войны? Повоевавший на Юго-Западном, Калининском, Северо-Западном, Воронежском, Степном, 1-м Украинском фронтах. «СМЕРШ» боролся с немецкими диверсантами и шпионами, с дезертирами, которых было в изобилии. Работа в военной контрразведке «СМЕРШ» во Львове была напряжённой и касалась борьбы с бандеровцами (отсылаю к отчёту начальника политуправления Прикарпатского военного округа, генерал-майора Леонида Брежнева). Мне, тогда школьнику, запомнились головы сельских молочниц, убитых за снабжение города молоком, и присланные бандитами во Львов в бидонах. Разрубленный бандеровским топором череп честного публициста Ярослава Галана, сражённый бандеровской пулей недалеко от моей школы униатский священник Костельник...

ВЕЛИКОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАШИХ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ

О, наши матери и отцы, перемолотое, настрадавшееся поколение! Воистину великое, прошедшее через страшные и героические годы России! Через кровь революции и войн, чистки, несчастья, голод, вечный дефицит. Сохранившее любовь к жизни и оптимизм. Они убивали, их убивали-переубивали. Честно служили Отчизне.

...А вот моей Милочке, моей маме совсем не повезло. Красивая девушка из Павлограда, что рядом с Днепропетровском, приехала за блаженным счастьем в Москву, удачно вышла замуж за чекиста, родила сына, и тут мужа взяли под белые руки. Освободили, выгнали в прекрасный Киев — снова лучик счастья, — а тут война, проклятая война! Жуткая эвакуация, русский дранг нах остен в Ташкент, смерть её отца и матери, наконец, воссоединение с мужем во Львове в 1944 году в неопишуемой для того времени роскоши. И — внезапная смерть через два года в тридцать восемь лет! Без мамы детства не существует, во всяком случае, так было у меня. Мне всю жизнь так не хватало мамы, нашей с папой Милочки, как больно, что она рано ушла из жизни! А потом проклятая смерть унесла и папу и почти всех моих близких друзей. Человек обязан победить смерть.





СКОЛЬЗЯ ПО ЛЕЗВИЮ

Скользя по лезвию ножа,
Дрожа от сладости пореза,
Чтоб навсегда зашла душа,
Привыкнув к холоду железа...
И так с озябшей головой,
С надеждой слабой на спасенье
Меж двух земель одной ногой
Ступить в момент землетрясения.
И не заметить с высоты,
Где ослепительно и пусто,
Что там давно горят костры,
И ждёт расплата за искусство.

Копенгаген, 1968



ЛОНДОНСКИЙ НОКТЮРН

Парк, вычерченный чётко, как чертёж,
Чернел, укрывшись под чадрую ливня.
И лилии вытягивались в линии,
И в сердце перекатывалась дрожь.
Как грустно мне под фонарями газовыми
Сырой пейзаж своим теплом забрасывать,
И наблюдать с печальною гримасою
Как тихо задыхается камин.
Не пахнут для меня цветы газонные,
Не привлекают леди невесомые,
И джентльмены, гордые и сонные,
Меня вогнали в англо-русский сплин.
И я уже фунты тайком считаю,
Лью сливки в чай, и в нём души не чаю,
И я уже по-аглицки скучаю,
Лениво добавляю в виски лёд...
Британский кот в ногах разлётся барином,
И шелестит в руках газета «Гардиан»,
И хочется взять зонтик продырявленный
И в клуб брести, как прогоревший лорд.
Но угли вспыхнут и замрут растерянно,
О, Боже, как душа моя рассеянна!

С ума сойти от этого огня!
В нём золотые льдинки загораются,
В нём черти вьются и века сбиваются,
И стынет в пепле молодость моя!

Лондон, 1963



ВЕСЁЛЫЙ РОБОТ



Метаться и места менять,
И шкуру на другую шкуру.
И научиться забывать
Родную синекуру.
Чтоб не осталось ничего!
Измены, слёзы и сомненья,
И одиночества мученья,
И боль неловкого общенья —
Чтоб стали на лицо одно.
И эту хмурь зажать в руке,
Пусть светят звёзды вдалеке!
Шагай вперёд, весёлый робот!
Хрипит труба. Неверен шаг.
Но воздух раскалённый лёгок,
И лишь приказ звенит в ушах.

Копенгаген, 1969



ИСПОВЕДЬ ПОД МАГНОЛИЯМИ

поэма

*Как причудливо тасуется колода!
М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»*

Какая странная история: небо горит,
Словно спирт на призрачном блюде,
Подожжённый спичкой.
О булыжники лицами мягкими бьются
И наступают на пьяные фонари
Солнцем сожжённые прохожие,
Спирта зажжённого требуя,
Как солнца, в пасти свои...
Какая торжественность!
Хочется неслышно и божественно
Задеть неуловимым жестом
Пузырьки вечности,
Конечности бесконечности.
Хочется открыть электричество,
Превратить качество в количество,
Трагическое — в комическое,
Формулу мозга вычислить.
Личность разложить на различные
Безличные плюсы и минусы.



Её, увы, не отразил.
До хрипа трубку он курил
И до видений напивался.
Сидел на лавочке, смердя,
И думал, как убить себя.
Как отлететь комфортно в Лету —
Ведь скоро минет пятьдесят!
Поэты все в аду горят,
А те, кто живы, — не поэты!
Ногами влажными, босыми
Он грязь месил на разный лад.
Поэты все в аду горят! —
Звенело тонко. Воздух, синий
От пережратых шашлыков,
На важность сдвинутых мозгов
Давил несокрушимым сплином,
Как англичане говорят.
Поэты все в аду горят,
В плащах, залитых стеарином,
Сгибаясь над листом в ночи.
Горят, как зарево, плащи.
Так думал я. А на аллее
Уже шуршали и шумели,
Гремела музыка в саду,
Пьянящий аромат «Шанели»,

Буфет, шампанское во льду.
Так думал я. А с высоты
Уже кружилось и звенело:
«За музыкаю только дело!
Итак, не выбирай пути,
Почти бесплотность предпочти
Тому, что слишком плоть и тело».
Твоё томление знакомо,
Вся эта нервность — как саркома,
Тасуй тяжёлую колоду,
Пока не ляжет туз коронный!
И, если строго между нами,
Меж кроликами и волками,
Мечтаешь ты, что туз коронный
Падёт, как чудо, из колоды,
Твой козырной, твой бес заветный!
А что твой туз? Прыжок карьерный?
Поэмка с запахом горелым?
Вино в бокале запотелом?
Слова калёные, литые,
Слова лихие и святые,
И почерк вроде бы корявый,
И прочерк вроде бы кровавый,
И надо всем — смешок лукавый,
Смычок, оживший под руками,

Сверчок, зацокавший в камине.
Снежок во рту, цветок карминный,
Смешок лукавый, наваждение.
Уйди, остановись, мгновенье!

Это стихотворение —
Психопатическое воспроизведение
Настроений, развлечений
И прочих явлений
У автора на аллее.
Откровений и прозрений,
Достойных презренья
Или восхваления
В зависимости от пищеварения
Читательского гения.
Главное, что ничего не случилось.
Ничего не увели
И никому не набили морду.
Была отменная погода.
Автор в расцвете сил
И таланта топал себе по аллее,
Почёсываясь, шаркая, шамкая,
Млея,
Как верный муж.
Под собственный туш,
Эдакий Акакий, как шавка, жалкий,





*Любимова (Вишневская) Екатерина Павловна
в роли герцогини*

Решенья красотки Кит,
И был изумительно жуток
Его измождённый вид.
К окну прислонилась дама.
Огнём заблестел муар.
Хлопнули бешено рамы.
Вздрогнул Мартен дю Гар.
«Ах, Кит, не сердитесь, право,
Я ласков, заботлив, прост!
Я Вам подарю зуава,
Синей кометы хвост!»
Сказала, роскошные плечи
Кутая зябко в плед:
«Я Вам, быть может, отвечу,
Когда допишу сонет!»
Дни незаметно проходят,
Стихает весенний шум.
Сонеты у Кит не выходят,
Ей басни приходят на ум.
Но время любовь хоронит,
Когда не слышен ответ.
И вот под окном уж стонет
Бледный красавец-скелет.

1958

АНРИ РУССО: СПЯЩАЯ ЦЫГАНКА И ЛЕВ

Зарылась Сахара в песчаные рвы.
Жарко, как жарко, милая!
Бредут по Сахаре голодные львы
Ты не боишься, милая?
У каждого льва огромный хвост,
Длиннее косы твоей, милая!
В каждом хвосте миллион волос.
Неправда ли много, милая?
И я по секрету скажу тебе, Кит,
(Страшнее нет тайны на свете),
Что каждый волос громко жужжит,
Когда в него дует ветер.
Каждый волос имеет голос,
Губы имеет, голову, нос.
Поёт, заливается каждый волос,
А следовательно — и целый хвост!
Представь же теперь, дорогая Кит:
От зноя и музыки звучной,
Какой у льва измученный вид
И как ему, бедному, скучно.
Он голову рад положить в лассо,
Он стонет, он плачет, он воет!
Но тут художник Анри Руссо



На помощь к нему приходит.
И льву, который от мук засох,
(И львам не хватает духа)
Кладёт он цыганку на жёлтый песок,
Чтоб жарче цыганку нюхать.
Ах, если б и я был таким же львом!
Глаза разлепив спозаранок,
Я нюхал бы жадно и ночью, и днём
Заснувших в пустыне цыганок.

Москва, 1960

КРАСНАЯ СОБАКА

*У Кати была игрушечная
собачка красного цвета.
Мы расставались навсегда.*

У красной собаки твоей
на клыках белоснежная пена,
И, как кобра, по шее ползёт,
извивается траурный жгут.
Я тебя потерял.
Я теряю себя постепенно.
И прекрасные письма
в прощальной истерике жгу.
Ты конца моего не угадывай
в тошном гаданье,
Ты мой стон не лови —
он растаял уже.
Одинокий вагон заскрипел
в тупике расставанья,
На своём, на последнем,
на ныряющем вниз рубеже.
Исчезай поскорей!
Твои жёсткие губы жестоко
Подведут под моей суетой
роковую черту,

Обожгут мою память коротким,
как выстрел, упрёком,
Превратят твою тень в голубую,
как одурь, мечту.

До свиданья, красная собака! До свиданья, мои золотые
рыбки! До свиданья, тёплый вечер! А теперь — прямо
и направо, вниз — и снова направо. А дальше всё прямо
и прямо до остановки...

Москва, 1968



ПРОЩАЛЬНОЕ

Тамаре Любимовой

Просила: «Напиши, пожалуйста,
Как хорошо со мной, как радостно!
Как любишь ты меня по-разному,
То справедливо, то безжалостно!».
Писать? Прости, страшна бумага!
Черней чумы и горше яда,
И коль любовь уйдёт в бумажки,
Пути обратно нет бедняжке!
Но обещаю же, конечно,
Когда-нибудь в метели вечной
Нарисовать комочком снежным,
Что я любил тебя так нежно...

Москва, 1980



БАЛЛАДА О СМЕСИ ДРАЙ МАРТИНИ И ЧЁРНОГО РОМА

Если в старом отеле погром и бедлам,
И папаша картины все выдрал из рам,
Если резко машину в кювет понесло,
И родитель башкой продырявил стекло,
Но спокойно баранку сжимает в руках,
И фривольный романс у него на губах.
Если целый сервиз о сынка раздолбав,
Он ползёт по земле, как раздутый удав.
То в дублёнке начнёт в океане тонуть,
То помчится домой, чтоб в окно сигануть...
И когда на плечах понесут на кровать,
Его тело — мешок с углём,
Вот тогда вы поймёте, что значит смешать
Драй мартины и чёрный ром!

Копенгаген, 1976



БАЛЛАДА ОБ ОТСУТСТВИИ СЮЖЕТА

Идёт себе товарищ,
ногами семенит,
Немножечко хромает,
наверно, инвалид.
Одним бедром качает,
коленками дрожит,
На ногу припадает,
наверно, инвалид.
То на живот вдруг упадёт,
Немного полежит,
То встанет
и опять пойдёт,
Наверно, инвалид.
То прыгнет
в сторону, как кот,
На ухе постоит,
То снова ляжет на живот,
То зайцем побежит...
И чтоб не тосковали
сюжета знатоки,
На лавку вдруг присядет
и вытащит очки.

Опять немного полежит,
 привстанет, упадёт,
Спокойно на траве поспит,
 проснётся и зевнёт.
И снова дёрнет поскорей
 невзрачный мужичок,
И задувает ветер
 ему под пиджачок...

Копенгаген, 1977



БАЛЛАДА О ТОМ, КАК ПИСАТЬ БАЛЛАДЫ

Юноша деда спросил напрямик,
Как ты сочиняешь баллады, старик?
Молвил старик странноватый в ответ:
Сначала снимаю с себя я жилет,
Потом три минуты гляжу в потолок,
Поглажу рукой поседевший висок,
Легко выпиваю бутылку вина,
Смотрю на спешащих людей из окна,
Затем два часа ковыряю в носу,
Из кухни себе простоквашу несу.
Затем начинаю кусать карандаш,
Смотрю, не сгорел ли на плитке гуляш,
Пускаю в окно пузыри изо рта,
Под зад со стола прогоняю кота,
Гляжу за окно и опять в потолок...
Ну, вот и готова баллада, дружок!

Копенгаген, 1978



БАЛЛАДА О ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ УЖИНЕ

Свинцовые фразы висят над столом:

«Подайте мне шпроты!»,

 «Налей мне боржом!»,

«Купил я штаны по дешёвке на днях»,

«Что смотришь на Светку,

 она же в прыщах!»

«Не хочешь ещё?» —

 «Не, наелся сполна»,

«Да врёшь, что наелся,

 тебе бы слона!»,

«А сколько за дачу свою заплатил?»

«Пойдём отольём-ка»,

 «Не, я уже был».

Угри и селёдка, икра и салат,

С холодной водкой графины стоят.

В глазах отражаются щи и желе,

На пальцах бриллианты, на шее колье.

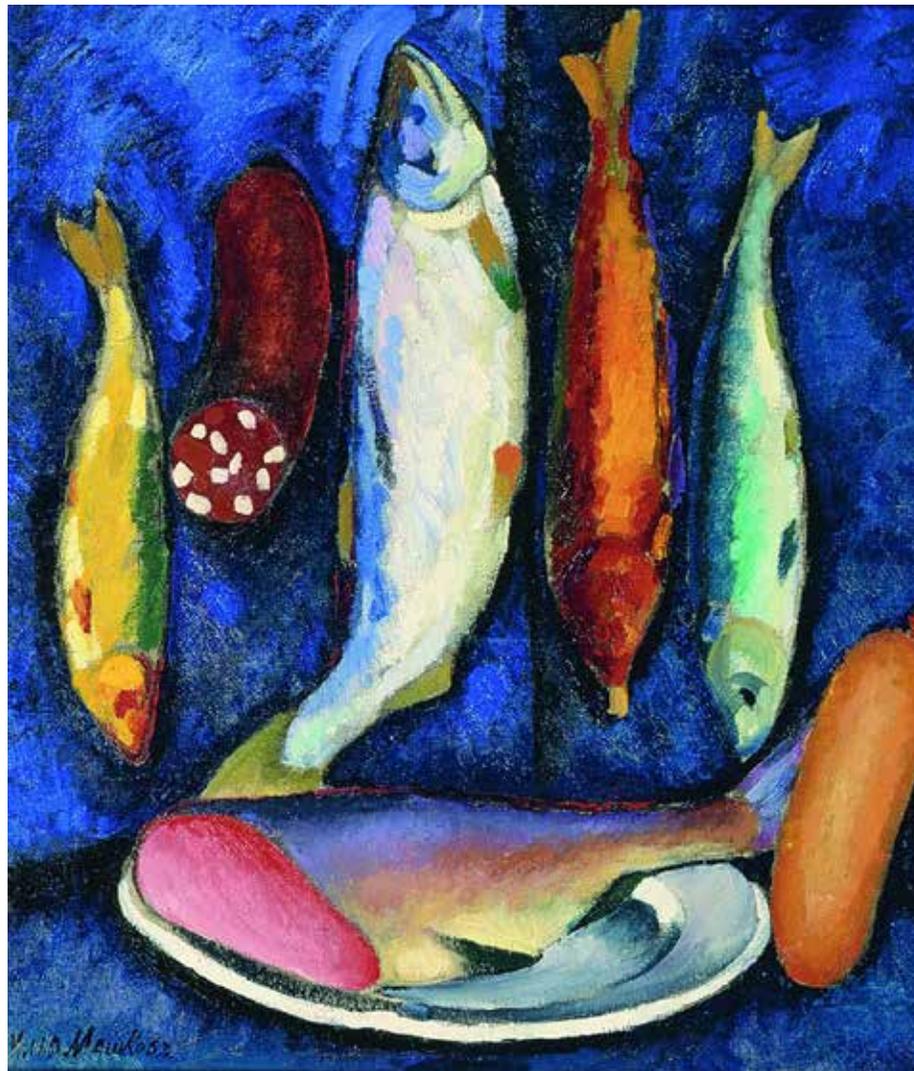
«Ну что ж, за хозяйку, за папу её,

За мужа, за сына давайте нальём!»

«За маму и бабу давай, паразит!»

«Что льёте на платье?»,

 «Да он уже спит».



«Ну что замолчали?», «Жаркое несут!».
«Я думал: севрюгу», «Я думала: суп!»
«Считаю, что надо... не лишне бы нам
За дам и подняться!»,
 «Что ж, выпьем за дам!»
...Давай осторожно. Молчи, не дыши.
Умчимся с тобою, где нет ни души.
Под музыку ветра с тобою споём.
Прозрачную стужей с тобою запьём.
Пред лунным сияньем с тобою замрём,
Давай-ка растаем с тобою вдвоём.

Копенгаген, 1978



БАЛЛАДА О ГОЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ

По модному отелю, где бьёт внизу прибой,
Весёлый голый носится и ищет номер свой.
Напился Бога ради, за стойкой задремал,
Проснулся. «Где я, дядя?» И бросился в провал.
Безумно катят этажи, нельзя пересчитать!
А он бежит себе бежит, бежит, ядрёна мать!
Забыл свою фамилию, забыл свой чемодан.
И мечется, и мечется, пугая милых дам.
Откроет номер ключиком, закроет и замрёт.
Подёргает за ручку, на коврике заснёт.
Чудак неделю носится, пугает всех людей,
Ему осталось только пятнадцать этажей.
И все над ним хохочут: ишь, довело вино!
Как будто отличаются бедняги от него!
Как будто ежедневно, ночь тяжкую проспав,
Не носимся мы, голые, свой номер потеряв...

Копенгаген, 1979



БАЛЛАДА О НЕСЧАСТНОМ ЧЕРЕПЕ

Безнадёжно твёрдый череп
на могиле проживал,
Словно Йорик, шут придворный,
поддержать себя давал.
Жил спокойно и беспечно,
непрерывно жвачку грыз,
Но внезапно поселилась
в черепке красotka Мысль.
В платье из противоречий,
с тьмой загадок в рукаве,
В ожерелье из упрямства
и с сомнением в голове.
Бедный череп, череп честный,
симпатичнейший голыш,
Отошли ты Мысль подальше,
прогони её, как мышь!
Всё на кладбище разрыла,
превратила в тарарам,
Мертвецов переложила
не по рангам, по делам.
Хитроумная колдунья
развела везде порок,

И влюбила бедный череп
в самый ласковый цветок.
Череп изнывал от страсти,
слушал щебетанье птиц
С мыслью о своей напасти
в тёмной пропасти глазниц.
Бедный череп, череп странный,
симпатичнейший голыш,
Отвяжись от этой Мысли,
ради Бога, отвяжись!
И разгневался до хруста
от проделок Мысли он,
С нею стал бороться дустом,
керосином и огнём.
От волненья раскололся
на две части черепок,
И теперь в двух половинках
Мысль живёт себе, как Бог.
Славный череп, друг мой ситный,
симпатичнейший голыш!
Бесполезною работой
так себя ты уморишь!
Ведь пустое это дело,
недостойное притом,
Изгонять пытаться мысли

керосином и огнём.
Черепов везде навалом,
только мыслей дефицит...
Вот и мысль моя исчезла.
И последний слог убит!

Копенгаген, 1978



БАЛЛАДА О СЕРОЙ МОРДЕ И КРАСНОЙ РОЖЕ

Шла по улице серой очень Серая Морда
С очень серою мыслью
в головёнке своей.
Серым оком взирала,
серым всё называла,
И от этого было всё серей и сырей.
А навстречу спешила
очень Красная Рожа,
На которой светился
здоровенный фингал.
С носом мертвенно-сизым,
с окровавленной кожей,
Но с бриллиантом — он солнцем
на мизинце сверкал.
«Слушай, Красная Рожа,
на кого ты похожа?» —
Очень Серая Морда
комментарий дала, —
«Видно вновь козыряла
своей спившейся рожей,
Своим мнением вредным,
напилась допьяна?!»



А в ответ посмотрела
очень Красная Рожа
И на серую шляпу, и на серый пиджак,
И на серые уши, и на серую душу.
Только выразить это невозможно никак.
Потому и вздохнула очень Красная Рожа,
И пошла себе дальше, от смущенья горя.
И молчаньем надменным
навсегда оскорбила
Очень Серую Морду, и, наверное, зря.
Не понять красной пьяни
с бирюзовым фингалом,
Что предельно удобен
безболезненный цвет!
Что огромная прелесть —
идеальная серость!
И, пожалуй, на это комментарий нет.

Копенгаген, 1978

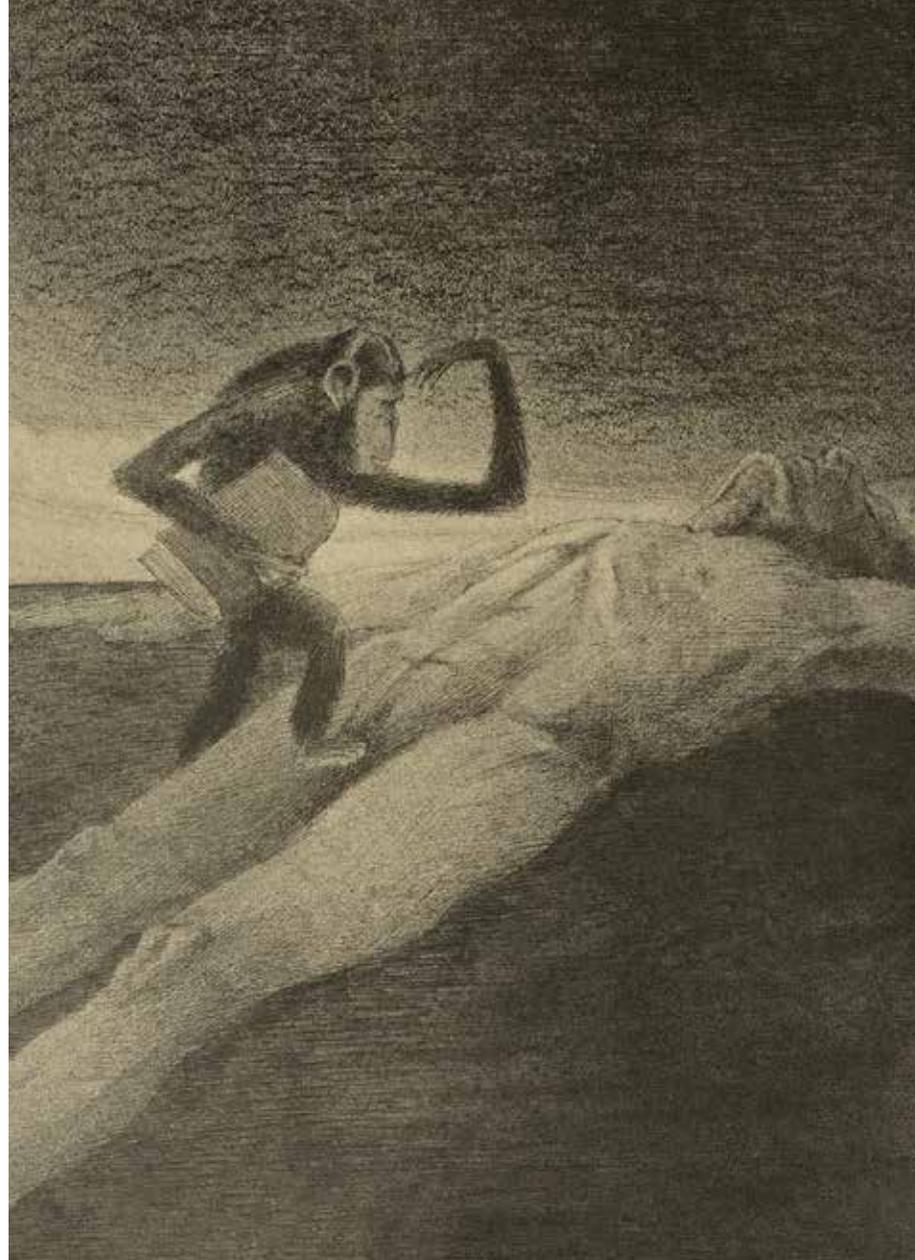


БАЛЛАДА О ВЕЛИКОМ ДАРВИНЕ

Англичанин Чарльз Дарвин,
Старый циник с бородой!
Почему от обезьяны
Ты ведёшь наш род людской?
Мы совсем другого нрава,
Мы, как львы, всегда важны.
Мы коварны, как удавы,
И печальны, как моржи.
Мы хвастливы, как павлины,
И, как волки, дико злы.
Элегантны, как дельфины,
Ароматны, как козлы.
Разве можно сердца раны
И желанье целовать
Обезьянностью поганой
Примитивно объяснять?
Объясни мне эту скуку,
Что болит и не щадит?!
Объясни мне эту муку,
Чарльз Дарвин, эрудит!



Копенгаген, 1978



НА МОТИВЫ Т. С. ЭЛИОТА

Читатели «Бостон
Ивнинг Транскрипт»
Качаются в воздухе,
как кукурузные стебли.
Вечер на улицы тихо ступил,
Аппетиты в одних разбудив,
А другим подарив
«Бостон Ивнинг Транскрипт».
Я иду по ступенькам
И, обернувшись устало,
Нажимаю на кнопку звонка.
Так оборачиваются,
Чтобы проститься с Ларошфуко,
Если улица — это время,
А ты в конце улицы.
И сказать: «Кузен Франсуа,
Вот вам «Бостон
Ивнинг Транскрипт!»

Лондон, 1964



НА МОТИВЫ РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА

Копыто бойкое козы
Столкнуло камень с крутизны.
Он покатился между скал,
В пучины тёмные упал.
И с той поры, зарывшись в ил,
Водою скрытый от светил,
Залёг под бременем глубин.
Один!
О Ты, который создал мир,
Который солнце засветил
И потушил огонь на дне!
Скажи, в чём камня тяжкий грех?
За что, засыпанный песком,
Страдает он на дне морском,
Козой низвергнутый с вершин?
Один!

Москва, 1955



НА МОТИВЫ ЭЗРЫ ПАУНДА

Я слишком долго ожидал этого факта.
Но он неумолимо приближался
И стал зловещим.
Я слишком долго ждал этого факта.
Я его подготовил давно.
Я нужные книги раскрыл.
Я наметил страницы.
Ах, красота — это редкая штука,
Мало, кто пьёт из ковша её, друг!
И столько бесплодной печали,
И столько потеряно дней!
Сейчас я смотрю из окна
На дождь, на летящие кэбы.
Их маленький мир потрясён.
Во власти они тех же сил,
Что и я.
Откуда я знаю?
Я знаю прекрасно,
Что дышим мы с ним
Одним настроением.
Красота — это редкая штука.
Мало, кто пьёт из ковша её, друг!

Двое. Дыхание леса.
Друзья? Неужели и дружба слабеет,
Когда появляется третий?
Дважды она обещала прийти
Между ночью и утром.
Красота выпила мой мозг.
Юноша быстро забыл,
Что юность не вечна.
(Боже, Вы танцевали
Так сухо, так напряжённо!)
Кто-то в восторге от ваших поэм.
Это искренне было.
(Неужели ты был дураком
В этот вечер и вечер другой?)
Но они обещали опять:
«Завтра за чаем!»
Третий день наступил.
От обоих ни слова.
Ни слова ни от него,
Ни от неё.
Только записка: «Дорогой Паунд,
Я покидаю Англию».

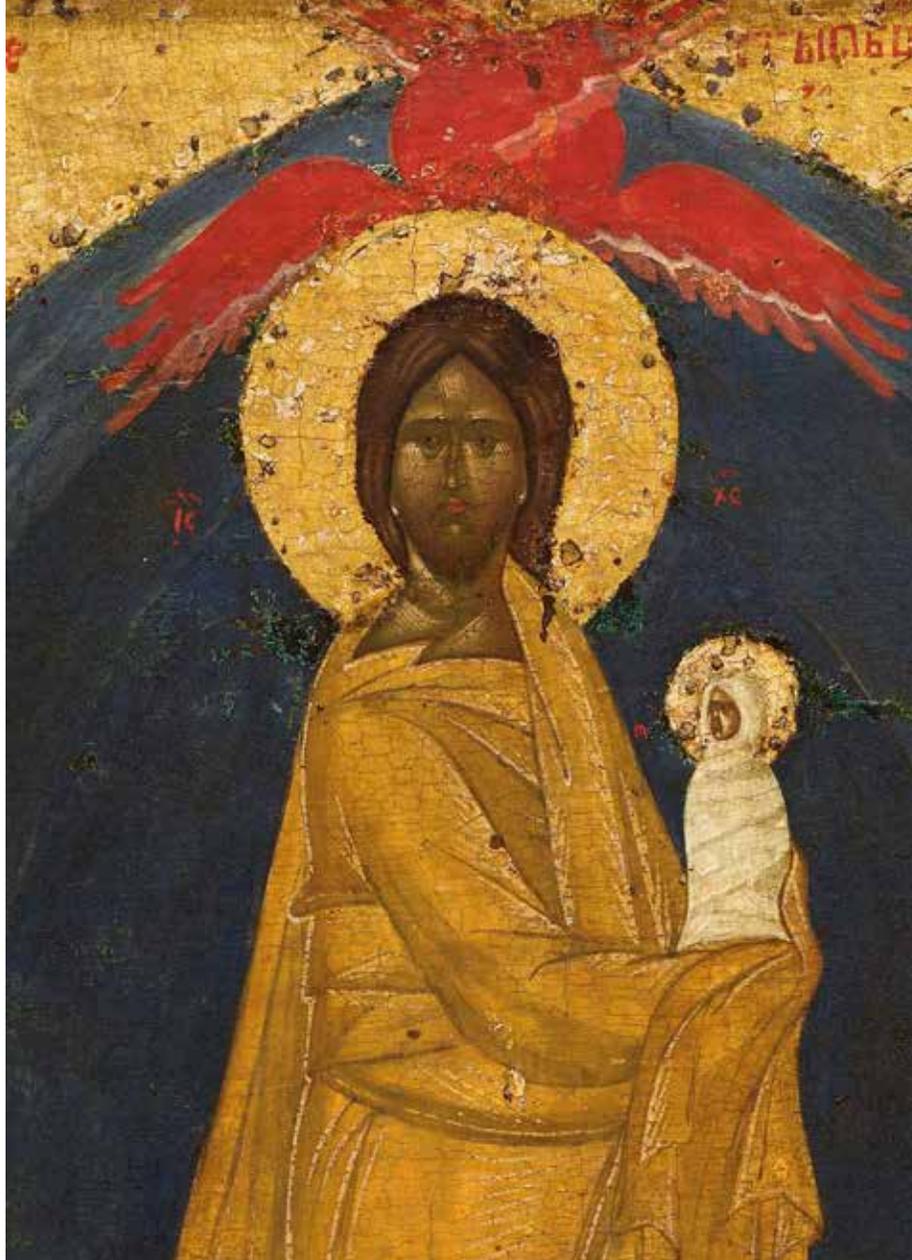
Москва, 1960



СМЕРТЕЛЬНО ЮНОЕ

Счастлив тот, кто веселится,
И не видит средь проказ
Ада сумрачные лица
И его свинцовый глаз.
Кто умеет без страданья
Веселиться и любить.
Кто способен мирозданье
Моментально развалить.
Кто небрежно, равнодушно
Клячу жизни гонит вон,
Поменяв свой саван душный
На дурацкий балахон.

Москва, 1953



КОРОЛЕВСКИЙ ЯХТ-КЛУБ

В королевском
яхт-клубе
Чистота и уют.
Каравеллы на тумбах
В Дарданеллы плывут.
Перепрыгнули тумбы
За моря в тарарам.
За столом,
как за клумбой,
Конференция дам.
Ожерелья и броши,
Позолота и медь.
Поглощали бриоши —
(Не дай Бог ожиреть).
Я стоял у причала.
Я у моря стоял.
Разгрызая омара,
Потихоньку вздыхал,
Что мои каравеллы
В паутине цепей,
Что мои королевы
У других королей.

Я страдал и метался,
Словно бедный Икар.
А в зубах потешался
Краснорожий омар.

Копенгаген, 1969



ОДИНОЧЕСТВО

Как весело! Я и маски.
Красным пламенем дышат портьеры.
Я говорю: «Маски, садитесь за стол,
Есть кофе и, может быть, виски.
Вы, как мои друзья
И мои возлюбленные,
Любите мягкие кресла
И модную музыку».
Но маски упрямятся.
Лишь деревянный шотландец
Спустился ко мне,
Закурил и сказал:
«Старина, а на улице осень».

Москва, 1970



ПЛАЧ О ПАМЯТНИКЕ

Бакунин никогда не отдавал долгов,
Кант неуживчив был
И выражался скверно.
Пил до зари романтик Огарёв,
А Гёте власть свою употреблял неверно.
Ах, до чего печальный парадокс:
Чем гениальней, тем каприз дурнее!
А тех, кто прост, природа не жалеет,
И памятников нету тем, кто прост.

Москва, 1970



ГОЙЯ

поэма

*Мне скучно, бес...
Александр Пушкин*

Повесть о художнике Гойе, его великой серии «Капричос»,
о ведьмах и ослах, о Его Величестве короле Фердинанде,
о веселящихся грандах и беспечных рыцарях-палачах.
Больше о жизни и меньше о смерти.

ОПУС ПЕРВЫЙ

О ТОМ, КАК ПОЛЕЗНО ЛЮБИТЬ МАХ И ВИНО,
ПРИ ЭТОМ НЕ ДУМАТЬ О СМЕРТИ

Нетленность дружбы.
Тленность мах.
Вино, паэлья, воздух горный,
Здоровый сон. И сам монарх
С утра позирует покорно.
О, сам монарх!
Не стыдно мне,
Что краски лгут
и сердце плачет.
Зато горит в моём уме
Звезда неслыханной удачи!
Зато так сладко ощутим

В самом себе.
 Угроблена мишень.
Я сам себе, наверно,
 буду сниться.
Как беспощаден
 этот календарь!
Он мне сулит уход
 от наслаждений
Туда, где тошен
 умудрённый гений
Комфорта, пышных фраз,
 где, как и встарь
Инфанты, двор,
 беззубый государь...
И я шагаю по краю доски
В мир ненавистный
 и такой любимый,
Разодранный, как падаль,
 на куски,
Сражённый болтовнёй
 и жирным дымом.
Всё лживо,
 и поэтому так зримо!
Когда-нибудь
 зловещий хоровод

Вечнозелёных абсолютных истин
Меня в такое пугало зачислит,
Что буду я вопить: «Я не такой!
Я не служака!» Близится покой...
Как много нас прошло
 через этот тлен
Полотен, болей,
 радостей подложных!
Ну что, художник,
 где же твой треножник?
Стоишь один, как будто
 сладкий плен
В который раз
 впервые открываешь.
Ты знаешь то, что ничего не знаешь.

ОПУС ТРЕТИЙ

О ТОМ, КАК ТРУДНО ПИСАТЬ ПОРТРЕТЫ КОРОЛЯ
ФЕРДИНАНДА, КОГДА ДРОЖИТ РУКА, КИПИТ
НЕНАВИСТЬ, И ВСЕ ЗАВИДУЮТ

За что казнишь, мой критик злой?
Король в Испании — король,
И, если хочешь есть паэлью,
Пиши и красок не жалеи!
Прикажет — розовой пастелью,



ОПУС ПЯТЫЙ.

РЕПЛИКА АНГЕЛОВ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ПРАВЫ,
ХОТЯ ЧАСТО ОШИБАЮТСЯ

Веселитесь, рыцари,
Наслаждайтесь, рыцари!
Сказка вам припомнится
В лапах инквизиции.
Ох уж как припомнится,
Ох уж как запомнится!
Солнышко закатится,
Помертвеет солнышко...
Запоёте,
 доблестные мóлодцы,
Рыцари дивана,
На чужие, совсем
 незнакомые слова.
И поплывёте по морю Лжи
К берегу Обмана
В бухту Подлости,
Через Большого Убийства
 туманные острова.

ОПУС ШЕСТОЙ.

ИСПОВЕДЬ ИНКВИЗИТОРА, ЧЬЁ СЕРДЦЕ БОЛИТ,
КОГДА ОН РУБИТ ГОЛОВЫ

Мученики догмата,
Страждущий народ
С робостью и гоготом
Раскрывает рот.
И ударят глыбой,
Обожгут слова.
И замрёт на дыбе
Дура-голова.
Ряс жестока сбруя,
Тягостно дышать.
Ох, как аллилуем
Скована душа!
Мученики догмата,
Хмурый карнавал,
Зазывает холодом,
Стонами подвал.
Там зовут, в наручниках
Разлепив уста,
Руки всех замученных
Именем Христа!
Где же твоя вера?

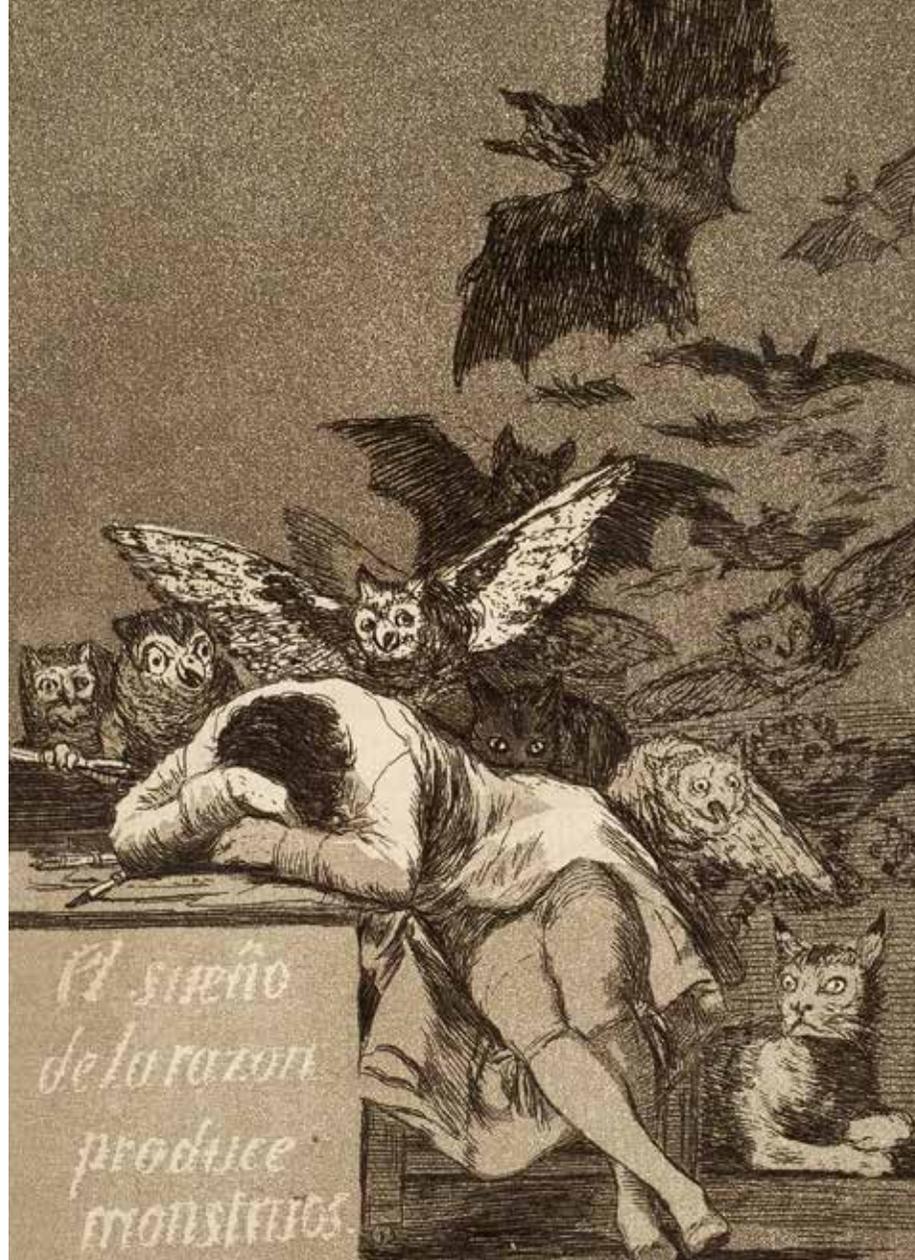
Пустыри и мрак.
Что же твоё дело?
Стёршийся пятак.
Молишь — не домолишься,
Лишь бросает в дрожь
На кинжале кровушка,
На молитве ложь.
На кинжале кровушка,
На молитве ложь.
Так уж нам положено,
Повелел так вождь!
Как хорёк затравленный,
На Христа взгляну,
Ворогам задавленным
Руку протяну.
Руку предававшую
Протяну врагу.
В богадельне вашей
Больше не могу!

ОПУС СЕДЬМОЙ

О ПОЛЬЗЕ ИЛЛЮЗИЙ, ЖАРЕНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МЯСЕ
И О БЛАГОУХАНИИ РОЗ

Горят тревожно фонари.
Треножник пуст. В окне картина.

Сжигают ведьму дикари,
Кретины в масках, арлекины!
И хороша! Темно от звона,
От блеска огненных волос,
Я в уши заложил тампоны,
Но чуток мой порочный нос!
Закрыв глаза, она горела
На радость богомерзких рож.
И запах жареного тела
Был удивительно похож
На дух бараний. Захотела
Душа вина, дыханья роз...
О, святотатец! Торквемада
Дитя в сравнении с тобой!
Мы все мучители душой
Без исключенья. Торквемада
Хоть и жесток, но не юлит,
Не лицемерит, не бубнит,
Что нынче роз срезать не надо,
Что надо сеять, надо печь,
Прилежно заниматься садом,
И лучше девушек не жечь...



FINITA LA COMEDIA

Где же истина? Где же истина?
Твоя Альба двором освистана.
Две волчицы вцепились в чётки.
Бык Эразма читает, чёрт с ним!
Твоя Альба, как птичка ранняя
Упорхнула к себе на волю.
Дон Франциско, кончай дознание!
Обжигайся новой любовью!
Расстегни пиджачок вельветовый
Чтоб с капричос тебе не мучиться!
Донна Альба — как запах ветра,
Вдруг подует, вдруг улетучится.
А совы всё кружат и кружат, глаза
затемняют и крыльями серого цвета
стирают морщины со лба...



НА СМЕРТЬ ХЕМИНГУЭЯ

*Жизнь ломает каждого, но многие
потом крепче на изломе. Но тех, кого
не может сломить, она убивает.*

Эрнест Хемингуэй

|

Пёстрые города,
хитрецы и вруны,
Нежный пепел луны
На щеках и за воротом.
Загорелся фонарь и погас.
Лишь кофейня,
как уличный глаз,
Освещает видения города.
Вы это прочтёте
В столичной газете,
В любимом сортире,
(Вся морда в кефире).
И вскрикнете:
«Эти придурки, как дети,
Из ружей себя
превращают в спагетти!
Как можно, как можно
Закончить так ложно?!»



Без старости долгой,
Больной и бесплодной,
Где нет ни охоты,
Ни виски с содовой,
Где женщины только
Предмет для толка,
И звезды сбиты,
И нет корриды!
А самое страшное —
Строчки линяют,
Пустеет сердце
И мысли бродят.
Ты клеишь, клянёшь,
Кричишь, умоляешь!
Но нет! Ушло!
Ни черта не выходит.
Рука — как медуза,
И корчится муза!
Ну, музыка, выше!
Нет, больше не выжить.
О, леди Макóмбер,
Как правы вы пошло!
Ружьё на ладонях
Сжигает мне кожу...

Конец. Всё постыло и силы иссякли.
И горько навеки заснуть побеждённым
И слушать, как цокают звонкие капли,
В канкан превращая мотив похоронный.
Проклятый мотив. Катафалки, бегите!
А может быть, выжить?

А может быть, выйти?

Из всех небоскрёбов тупые бандиты
Топорщатся, тонкие сжав карабины.
Ах, милые, некуда! В мире любимом
На древнем светиле занозы горят.
Одни катафалки. Одни карабины.
Я умер. Мозги мои в вечность летят.

Москва, 1961



ЛОНДОНСКОЕ ОСЛЕПЛЕНИЕ

Наташе Ф.

Заиндевшая в мехах
Твоя чертовская улыбка.
Блеск фонарей,
как Темза, зыбкий,
Застывший вдруг
в твоих глазах.
Толпа кабацкая орёт.
Машина рвётся
влево, вправо.

Нам запечённого омара
Гаваец томный подаёт.
Как жаль, что это не кино!
Что я не Бонд,
герой-повеса!

Что нет той
дымовой завесы,
Не драй мартини, а вино...
Я на тебя смотрю в упор,
Блестят твои
глаза осенние...

И крокодилы разговор
Ведут в игрушечном бассейне.



Что мы?
Реальность или миф?
Не всё ль равно?
За рубежами
Мы королев
возносим сами,
И убиваем сами их.
Заиндевшие улыбки
И фраз бессмысленных урывки,
Мерцанье глаз, игру движений,
И запах, нежный и осенний...

Лондон, 1964



ПИСЬМО

Л. Г.

И не писать — почти письмо,
Как будто бы имеют запах
Те десять строк, что будут завтра!
Сегодня ж темень, как назло,
И почтальон, старик беззубый,
С велосипедом, как безумный,
Упрямо бродит меж домов,
Не замечая номеров...
А между тем и между прочим,
Необходимо очень мне
Раскрыть глаза сегодня ночью
И думать о твоём письме.
О детской нервности движений
Руки с игривым ноготком,
О скрытой боли предложений,
Зажатых чувственным катком.
О, если б в грохоте оваций
Я смог услышать что-нибудь!
И в фотографий тусклый глянец
На время жизнь твою вдохнуть!
И ты встаёшь в том чёрном платье
Передо мной, как на распяты,

И шепчешь мне: «Прощай. Прости.
Прошу тебя. Не надо писем».
И, не оглядываясь, вниз!
Нет! Подожди! Остановись же!
Остановись! Так зябко жить
Мне в этом королевстве сонном,
Когда звонят, звонят навзрыд
Колокола по почтальонам.
Когда стучит в моё окно
В голодном, нежном ожиданье
Твой голос, как твоё признание.
Когда молчание — письмо.

Копенгаген, 1967



РАЗРЫВ

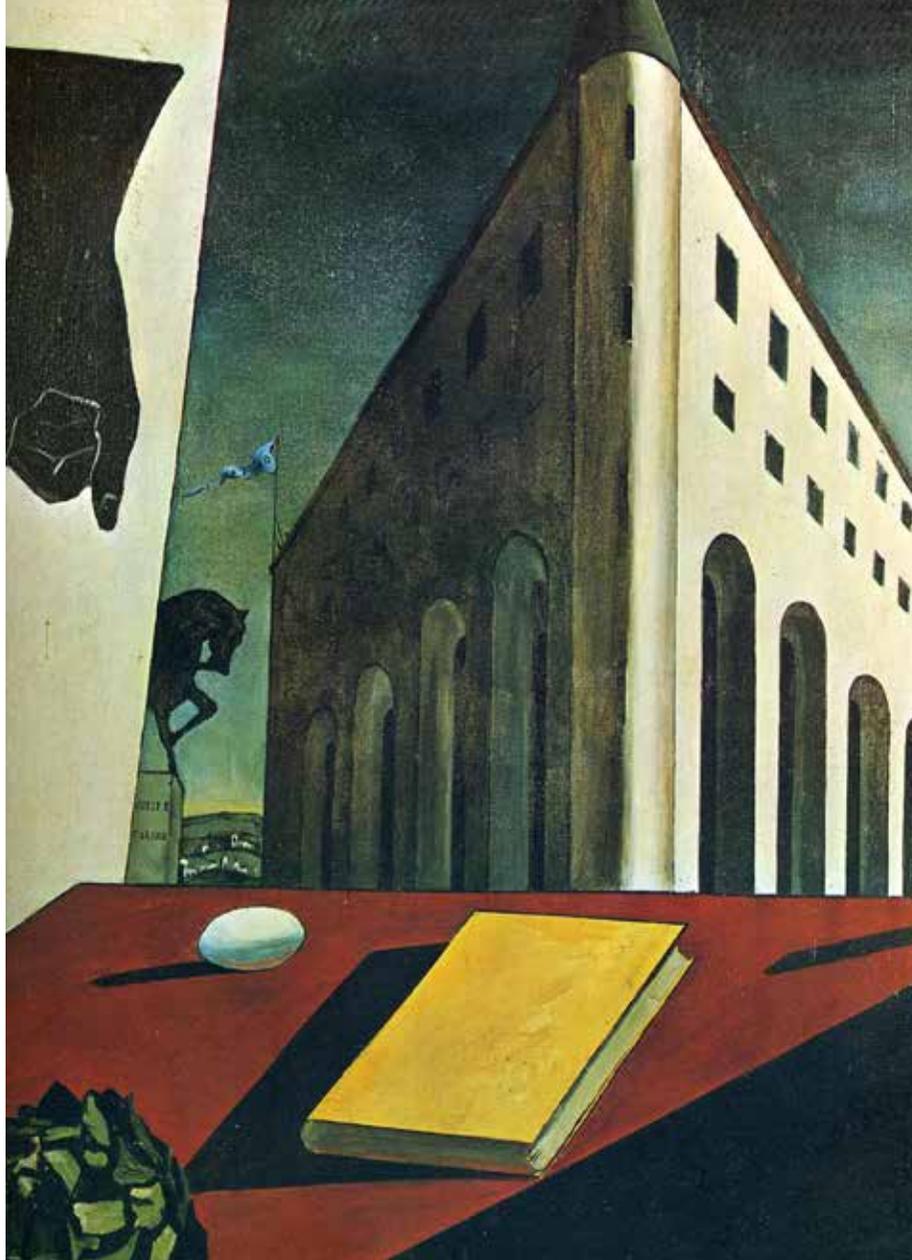
Людмила Г.

*...Ты холодно жмёшь к моим губам
свои серебряные кольца.*

Александр Блок

Уже из человека
я превратился в образ.
Ты в синие конверты
таким меня уложишь.
Как будто я засушенный.
Как будто я заснувший,
Как будто не хожу уже,
Как будто не дышу уже.
А я себе гуляю
И сигареткой балуюсь,
Смотрю, переживая,
На проходящих барышень.
Мне временами весело,
А временами — хмурый я.
Как в бесталанной пьесе я
Люблю тебя без юмора.

Копенгаген, 1968



АВТОСТРАДА

Какие скорости! Какие сосны!
Пути крошатся,

наступают, пятятся.

Как тигры,

мне под фары катятся,

Рыча, вцепляются в колёса.

А я их фарами глотаю,

Огнём моторным прожигаю.

Я — словно дьявол наяву...

Нет, я не умер. Я живу!

Я выжимаю мили

И слышу глас в эфире:

«Куда ты мчишь бессовестно,

Ошеломлённый скоростью?»

Замкнулись

в карусельный бред

Моря и суши.

О, сколько душ

бездушный бег

Напрасно рушит!

Побереги, дружок, бензин,

Ты гонишь очень.



Пора с безумием машин
Покончить!
Остановись. Звенит клаксон,
Немеет тело.
И вдруг мальчонка на бетон
Ступил несмело...

Копенгаген, 1969



ЗЕЛЁНАЯ ДАМА

Моей Танечке

Какая-то грузность сегодня меня охватила,
Какая-то грустность сдавила
и цепью скрутила,
Как будто набухла душа
и рвётся из тела со страшною силой!
Иль дедом я стал отупевшим,
до ужаса зимним?
Так и тянет меня, словно девочку,
выйти на сцену,
Просиять на экране меня
так убийственно тянет!
Распирают амбиции,
жгут воспалённые нервы.
Вот бы сбросить всё это,
отшвырнуть и оставить,
Через поле промчаться,
головой с размаху удариться в сено –
Не стена ведь, а сено.
И не хрустнет мой череп,
Не расколется надвое, словно полено!
Продырявит стог сена, не зря ведь учили

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ

Когда я смотрю на этот
 запущенный парк,
С облезлыми статуями на берегу
 заснеженного озера,
На камыши, торчащие
 из-под сугроба,
Как усы заснувшего
 в земле мамонта,
На сосны, вспыхивающие внезапно
 под ослепительным солнцем.
Когда я смотрю на изломанную
 границу льда,
Окаймляющую тёмную полыню,
В которой барахтается шумная
 орава лебедей, уток и чаек,
И жадно поглощает крошки хлеба,
 брошенные человеческой рукой.
На берегу заснеженного озера,
Под ослепительным солнцем.
Когда я смотрю на это, то понимаю,
Что всё бессмысленно.
Зима и солнце, и суетливые птицы.





Смотришь ты в это
 окно запотевшее?
Словно судьбы
 ожидает решение,
Словно настала
 пора разрешения
Всех твоих умных
 и глупых вопросов.
Словно задумал
 внести оживление
В нагромождение
 снежных заносов.
Словно судьбу
 ожидает в смешенье,
В новом свеченье
 красок знакомых,
В новом смятенье
 спасение словно!
Синее — белое.
 Снова и снова
Смотришь, от синего
 снега слабея:
Не шелохнутся,
 не вздрогнут деревья...
Можно, конечно, пустить

белку по белому снегу,
Усадить женщину
на камень, которого нету,
Усадить женщину,
которой нету,
На переломленную
кедра ветку.
Чтобы сидела она,
как грустная глыба,
Ожидая ветра
Из-за синего Эрезунда,
Ожидая, когда выплывет,
словно чудо-рыба,
Зарывшееся в волны
белое судно.
Можно, конечно,
оживить картину,
И на скамейку возле отеля
Посадить рыцаря
у дюны карминной,
В свитере — под Хемингуэя,
Рассматривающего
дольку мандарина,
Словно льдину,
рухнувшую с неба...



Съедавший за кофе полсухаря,
Казался мне образцом враля.
Казалось мне,
 что причина горькая —
Это жадность,
 а не простая диета
Миллионера
 и жертвы минета.
Лорды с заплатами
 и в рваных брюках
И принцы, кормящие голубей,
Вызывали у меня, хоть убей,
Идиосинкразию.
Разве это не дешёвый
 номер блядей —
Обречённой буржуазии,
Запутывающей
 народные толпы?!
Чтобы почувствовать
 сладость комфорта,
Неплохо в драном свитере,
С заплатами
 на непрезентабельном заде
Усесться на террасе
 рая в уславе,



С видом
На презентабельный
 и вполне живописный фьорд.
Где-нибудь в Думбартон-Оксе.
Забраться в «форд»,
Вдыхая дымок
Сигары чужой...
Конечно, мне ближе
 родной говорок
Незабвенной московской пивной,
И это пижонство.
Однако без всякого фобства,
Откровенно, как донага раздетый,
Заявляю: обожаю
 западные клозеты,
Утеплённые, вычищенные искусно...
Боже мой, какое кощунство!
Теперь придётся доказывать
Тем, кто повыше,
И, главное, тем, кто пониже,
Что я хотел бы жить
 и умереть в Париже,
Если б не было
 такой земли Москва!
Какой пафос! Какие слова!

И вот втыкаю в галстук
 булавку бриллиантовую,
И как суперденди,
 выраженный и начищенный,
До умопомрачения галантный
И до безобразия напыщенный,
Смочив щеки кёльнской,
Надев котелок венский
В тон штиблетам немецким,
Восхищаясь столом шведским,
Спускаюсь в бар английский
В поисках счастья и виски.
Ах, этот поиск счастья,
До хорошего он не доводит!
Синее — белое,
 белое — синее —
Необъяснимое, неизъяснимое
Смеётся и бродит
 по пустынным гостиным.
То из камина тонко проплачет,
То зашепчет хрипло из выси:
«Какая запальчивость!
 Сколько свежести мысли!
Где вы учились? В каких
 кругах, извините, выросли?»

И краски бросаем,
 шутя, на картину,
На белое море, на синюю тину.
Так сладок бросок,
 так смертельно опасен!
Как страшно, что вдруг
 покачнётся картина,
И, словно от пули,
 окрасится красным...

Белые деревья, синяя пороша.
Дорога уходит
 всё дальше и круче,
И покажется чуть попозже
Гораздо хуже, намного лучше.
Но уже никогда не возвратиться
К растворившимся
 дюнам и морю,
Не остановиться у мола,
Не зачерпнуть
 пригоршню синего песка,
Пытаясь узреть свою песчинку, свой чин
В куче взаимодействующих,
Злодействующих
 и прелюбодействующих



ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Осенний вечер.

Ритм занудный.

Часов оледенелый стук.

Перо мучительно и трудно

Ползёт по чистому листу.

О, почему так лживо, вяло

Ты лижешь этот белый лист?

Перо, будь скрипкой,

будь кинжалом!

О хлябь ночную расшибись!

Так неужели мы не смеем

Перевернуть судьбу свою?

И я слезливую капелью

В эфире сером прозвеню?

А может,

в нежности печальной

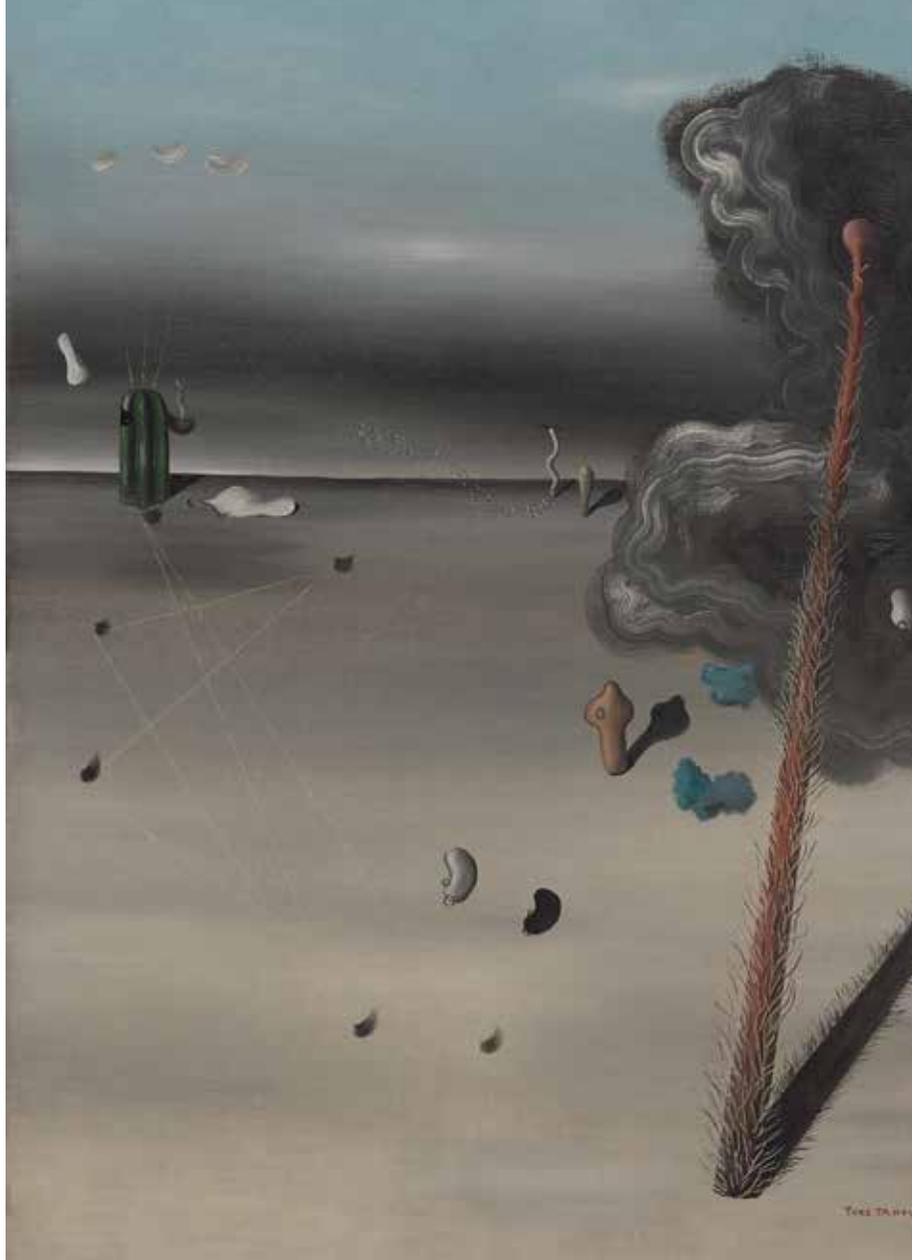
Вся наша жизнь заключена?

Точи же, червь-двойник

мой тайный!

Катись, презренная луна!

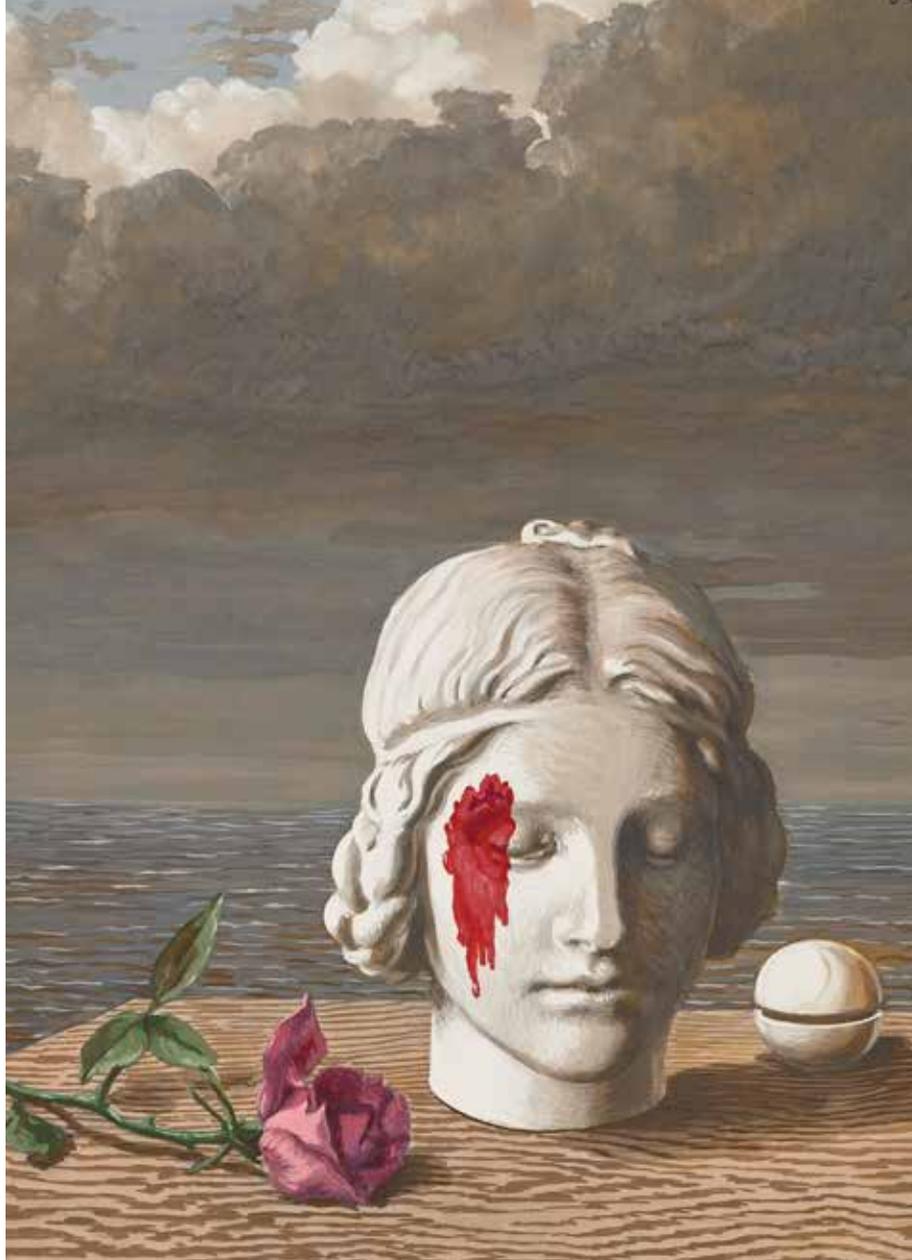
Копенгаген, 1969



НАДОЕЛО

Надоели герои и роботы,
Лупит в бубен оглохший шаман.
В голове — словно
 жахнул мне в голову
Озверевший свинцовый жакан.
Пусть ржавеют шикарные пушки
И нейтронных снарядов запас!
Пусть девочки в юбочках узких
Нежно любят и мучают нас!
Чтобы солнце
 сожгло преисподнюю,
Чтобы розами мир зацвел,
Чтоб твой шёпот,
 как голос Господень,
Меня тихо от смерти спасал.

Москва, 1970



АХ, ЕСЛИ БЫ...

Танечке

В век рассудительных машин
Живите
 предвкушеньем цвета,
Глухим отсутствием сюжета,
Смешеньем красок и картин.
Слепив глаза в наивном сне,
Скрестив беспомощные руки,
Ловите запахи и звуки,
Дышите, радуясь весне!
Сжигайте старые стихи,
Квартиры, кольца,
 настроенья,
Свои изнеженные перья,
Портреты, головы, грехи...
Какое счастье серый цвет
Сменить на снег
 до слёз колючий,
На ярость, что в благополучье
Не удавалось подглядеть!
На вздохи, всплески, конфетти,
На блёстки нежности высокой,
На мрамор верности жестокой,





от мира и ту тайную часть мятущейся души, что жила в нём по законам поэзии — скользя по лезвию. Впрочем, по завету великого Фёдора Тютчева (тоже, кстати, разведчика под дипломатическим прикрытием) так и должен жить истинный поэт — в себе самом. «Молчи, скрывайся и таи. И чувства, и мечты свои...»

Правда, известные советские поэты, современники Михаила Петровича Любимова (с некоторыми ему выпало быть в знакомстве и дружбе) жили как раз иначе: нараспашку, на зависть громко и с большой властью над умами и душами современников. «“Писатель — второе правительство!” — звучали у меня в ушах слова Солженицына», — замечает Любимов, грустно размышляя о ничтожной роли литературы в современном обществе.

Как ни странно, даже застольничая со знаменитыми друзьями в Москве, Копенгагене или Лондоне, Любимов предпочитал оставаться среди них нелегалом поэтического цеха. Ни одной попытки опубликоваться в журнале, ни одного порыва издать книгу, ни одного обращения за помощью в этом к сильным сего литературного мира... Что это — робость перед профессионалами? Смирение паче гордости?

Меж тем стихи сопровождали Михаила Любимова по жизни неотступно, поэзия стала неотъемлемой частью его бытия, вместилищем всех жизненных страстей и бурь, она была

ему и женой и любовницей, и утешением, и громоотводом. А порой неуёмная муза Эрато беззастенчиво становилась двигателем тайных размышлений и печалований о своём времени. И тогда включался механизм метафорических переключений и аллюзий, любовная лирика отползала в сторону, уступая место большим формам — циклам стихов, переходящим в поэмы...

«Я читал стихи многим дипломатам, разведчикам, крупным партийцам, но, видно, народ попадался порядочный, — пронесло! Карьера шла в гору!» Народ попался порядочный, или шифровальщик был опытный — кто теперь разберёт?! Время прошло, сместились акценты, исчезли цензоры, стихи перестали быть центром общественной жизни. За это время бывший «шпиён» (как любит иронизировать сам Любимов) вернулся в Россию, поднялся ещё на одну ступень карьерной лестницы, уже и генеральские звёзды, казалось, поблёскивали впереди... Но неожиданно для многих сорокашестилетний полковник вышел в отставку, чтобы наконец полностью отдаться вожаделенной даме — литературе. И, надо сказать, союз этот оказался успешным. Одна за другой стали выходить книги Михаила Любимова, по ним снимались фильмы, нешироко, но ставились пьесы, число переизданий росло с каждым годом. Отзывы и рецензии сыпались, как из рога изобилия, интервьюеры толпились в очереди...



И при этом старая загадка: в перестроечные годы и в новейшие времена (равно как и в пресловутые «шестидесятые») — ни одного опубликованного стихотворения, ни одной поэтической подборки в журнале, ни одной предпринятой попытки в этом направлении, если не считать литературной мистификации Любимова — стихов, вложенных в уста Алекса Уилки, одного из героев его знаменитого романа «И ад следовал за ним».

Разгадка пришла ко мне только в период редакторской работы над рукописью этой книги, на издание которой автор решил в преддверии своего девяностолетия. Дело в том, что Михаил Петрович Любимов никогда не писал стихов, это они его писали. А он только записывал надиктованное, не подвергая его ни обструкции, ни сомнению, ни правке. Вот как услышалось, так и записалось. И запечаталось в памяти. Поэзия, как таковая, всегда была для него сакральным делом, явлением божественного порядка. Таким и остаётся.

«Как же я ненавидал Вас в тот момент, когда вы при первой деловой встрече препарировали мои строчки, глумились над скверными рифмами и ловили блох в дорогих мне стихах, посвящённых моим любимым!» — сердечно улыбаясь, сказал мне недавно Михаил Петрович, который впоследствии в нашем общении оказался на редкость тонким и понятливым автором. Над стихами, родившимися полвека назад, мы с ним работали легко и дружно. Ни одной моей строки в этой

книге нет, все они найдены и пойманы в сети самим поэтом осенью прошлого и зимой нынешнего года.

Habent sua fata libeli — книги имеют свою судьбу. И сборник стихов, который читатель держит в руках, — яркое подтверждение древнеримской максимы.

«Зачем издаю старые стихи? Нет, не желанье славы, не мечта остаться в сомнительной вечности гонят меня в прошлое! Просто стихи — это чистота и честность, это зеркало меняющейся души. Просто хочу вернуться на свои зелёные берега и вновь ощутить другого себя, свои тогдашние убеждения и сомнения, будоражащую музыку прошедшей жизни. Часть моей открывшейся, но уже ускользающей души» — прибавить к этим прекрасным словам автора мне нечего.

Надежда Кондакова
22 июня 2022 года,
Переделкино



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Архип Куинджи — «Лунная ночь на Днепре» (стр. 6)
Кузьма Петров-Водкин — «Купание красного коня» (стр. 21)
Павел Филонов — «Крестьянская семья» (стр. 58)
Илья Машков — «Натюрморт с рыбами» (стр. 95)
Феофан Грек — «Успение Богородицы» (стр. 113)
Владислав Провоторов — диптих «Зелёная дама» (стр. 150, 153)
Николай Ге — «Что есть истина?» (стр. 165)
Борис Кустодиев — «Большевик» (стр. 184)
Борис Иогансон — «Допрос коммунистов» (стр. 187)
Микалоюс Чюрлёнис — «Дружба» (стр. 179)
Валерий Малолетков — декоративные рельефы (концевые
виньетки к стихам)
Джорджо де Кирико — «Песнь любви» (стр. 60)
Альфред Кубин — «Война» (стр. 64)
Иероним Босх — «Корабль дураков» (стр. 67)
Эль Греко — «Снятие пятой печати» (стр. 75)
Анри Руссо — «Спящая цыганка» (стр. 81)
Рене Магритт — «Терапевт» (стр. 86)
Фрэнсис Бэкон — «Три этюда к фигурам у подножия
распятия» (стр. 102)
Альфред Кубин — «Наука» (стр. 107)

Джорджо де Кирико — «Ностальгия по бесконечности»
(стр. 117)

Франсиско Гойя — «Шабаш ведьм» (стр. 120)

Альфред Кубин — иллюстрации к «Samalio Pardulus» Отто
Юлиуса Бирбаума (стр. 126)

Франсиско Гойя — «Сон разума рождает чудовищ» (стр. 131)

Исаак Грюневальд — «Танец апачей» (стр. 140)

Джорджо де Кирико — «Туринская весна» (стр. 145)

Джорджо де Кирико — «Тайна и меланхолия улицы»
(стр. 147)

Ив Танги — «Vélotancie II» (стр. 157)

Эдвард Мунк — «Одинокие» (стр. 160)

Анонимные последователи Иеронима Босха — «Сошествие
Христа в ад» (стр. 163)

Питер Брейгель Старший — «Безумная Грета» (стр. 167)

Иероним Босх — «Извлечение камня глупости» (стр. 173)

Ив Танги — «Мама, папа ранен!» (стр. 177)

Рене Магритт — «Память» (стр. 179)

Сандро Боттичелли — «Весна» (Примавера) (стр. 181)

Пауль Клее — иллюстрация к повести Вольтера «Кандид,
или Оптимизм» (обложка)

Автор

Михаил Любимов

Редактор

Надежда Кондакова

Дизайн и творческая вёрстка

Юрий Аугулис